

Зинаида Пастернак

Воспоминания. Письма

Не знаю, были ли мы счастливы, но нам казалось,
что ничего от жизни нам больше не нужно.



Дневник моего сердца
Diarium Cordis



Дневник моего сердца. Diarium Cordis

Зинаида Пастернак
Воспоминания. Письма

«АСТ»

2016

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Пастернак З. Н.

Воспоминания. Письма / З. Н. Пастернак — «АСТ»,
2016 — (Дневник моего сердца. Diarium Cordis)

ISBN 978-5-17-097611-9

Воспоминания – те же письма, с той разницей, что письма пишут конкретному адресату (частному лицу), воспоминания же, письма к вечности, если угодно, к другому себе. К себе, которого, возможно, уже и нет вовсе. Зинаида Пастернак, Нейгауз, по первому браку, подавала надежды как концертирующий пианист, и бог весть, как сложилась бы история ее, не будь прекрасной компании рядом, а именно Генриха Густавовича Нейгауза и Бориса Леонидовича Пастернака. Спутник, как понятие, – наблюдающий за происходящим, но не принимающий участия. Тот, кто принимает участие, да и во многом определяет события – спутница. Не станем определять синтентику образа Лары (прекрасной Лауры) из «Доктора Живаго», не станем констатировать любовную геометрию – она была и в романе, и в реальности. Суть этой книги – нежность интонаций и деликатность изложения. Эти буквы, слова, предложения врачуют нездоровое наше время, как доктор. Живой доктор.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-097611-9

© Пастернак З. Н., 2016

© АСТ, 2016

Содержание

Предисловие	9
Зинаида Пастернак	15
Детство	16
Переселение в Петербург	17
В Елисаветграде	19
Конец ознакомительного фрагмента.	54



Зинаида Пастернак

Воспоминания. Письма

Серия *Дневник моего сердца / Diarium Cordis*

Идея серии *Юрий И. Крылов*

Предисловие *Елена Л. Пастернак*

© ООО «Издательство АСТ», 2016

© Пастернак Е.Л., предисловие, комментарии, 2016

© З.Н. Пастернак, наследники, 2016

© Б.Л. Пастернак, наследники, 2016

* * *

Предисловие

Зинаида Николаевна Пастернак не хотела писать воспоминаний. Это нежелание было вполне органичным для ее характера – она была сдержанным, закрытым человеком и даже в домашних беседах весьма неохотно рассказывала о себе. До конца жизни все пережитое ею ощущалось отчетливо, как настоящее, и особенно отчетливой оставалась боль от множества потерь.

Она родилась в 1897 году в Петербурге, в семье военного инженера. Детей в семье было много, и воспитание они получили вполне традиционное; родители заботились в первую очередь об их здоровье и образовании. Душевной близости с отцом у маленькой Зины не было, а мать она восторженно обожала. Отца Зина лишилась рано; росла немного не такой, как все: с самого раннего детства была обособлена и «закрыта». Возможно, ее характер – женщины суровой и немногословной – сложился отчасти под влиянием строгого, неласкового детства, о котором она оставила весьма лаконичные воспоминания.

Те, кто знал Зину в молодости, отмечали совершенно особый тип ее красоты – она была на четверть итальянкой, но при ярко выраженной средиземноморской внешности ее стать и повадки были подчеркнута строгими, царственными, напрочь лишенными даже намека на кокетство.

Ее путь в музыку был простым, даже слишком простым, как может показаться из ее же воспоминаний; с шестнадцати лет девочка подыгрывала граммофонным пластинкам и делала это легко и весело, больше для развлечения старших сестер и их гостей. Влюбленный в нее двоюродный брат сразу же почувствовал, что за этим развлечением скрывается огромное дарование, и заставил Зину заниматься всерьез.

Невероятно строгая к себе, Зина не подозревала, что в ней дремлет настоящий музыкальный талант, как, впрочем, не собиралась и смиряться с заготовленной ей с детских лет ролью петербургской красавицы. Она, по-видимому, предчувствовала свою будущую судьбу с ее отречениями, служением и потерями. Тем не менее после первых же серьезных музыкальных уроков Зина ощутила, что открывшийся и признанный всеми и ею самой талант вытеснил все, что прежде составляло ее жизнь. Зина блестяще выдержала экзамены в консерваторию, которые принимал Феликс Блуменфельд.

Казалось, все развивается по слишком блестящему и слишком поспешному плану – целеустремленная, упорная в занятиях, она решает всю себя посвятить музыке. Изменившееся время этот план усложнило и направило Зину к совершенно иной судьбе. В середине 1917 года мать Зины, опасаясь за дочерей, принимает решение перевезти семью из военного Петрограда в тихий провинциальный Елисаветград.

Зина легко рассталась с Петербургом – она его не любила, несмотря на всю энергию и краски петербургской жизни начала двадцатого века. (В дальнейшем возвращалась в Ленинград вынужденно, не чувствуя этот город «своим».) Впрочем, она легко переносила любые перемены в жизни – подчиняясь обстоятельствам и сохраняя, как самое главное, свою внутреннюю цельность. В 1917 году Зина еще не дорожила ни воспоминаниями юности, ни домом, ни людьми, там оставленными.

Главным в новой елисаветградской жизни было продолжение музыкальных занятий. Елисаветград той поры славился своей музыкальной школой, которая имела репутацию лучшей в России. Основателями и преподавателями школы были Густав Вильгельмович и Ольга Михайловна Нейгаузы, родители Генриха Нейгауза. Сам же Генрих именно в те дни давал в Елисаветграде концерты.

Услышав его игру, Зина немедленно решила, что должна заниматься только с ним. «Я вернулась домой совершенно вне себя от счастья, что этот человек живет себе в Елисавет-

граде и такое вытворяет». Первая же их встреча решила все, но не в пользу музыки, как она с горечью вспоминала много лет спустя. Тем не менее Нейгауз согласился немного позаниматься с ней, ведь вскоре ему нужно было обратно в Тифлис, где он преподавал в консерватории. Через несколько месяцев он вернулся, занятия возобновились, но Гражданская война превратила тихий Елисаветград в поле военных действий.

Они решили уехать в Киев, где Нейгауз собирался концерттировать и преподавать в Киевской консерватории, а Зинаида Николаевна – продолжить свое музыкальное образование. Однако обстановка в Киеве времен Гражданской войны не способствовала этому. Тяжелая болезнь Зинаиды Николаевны решила все и сразу: «Нейгауз перевез меня к себе на Лютеранскую и трогательно ходил за мной всю болезнь. Поправившись, я стала все силы отдавать тому, чтобы сохранить в эти трудные времена жизнь и здоровье этого крупного музыканта... Большое чувство обязывало меня к большим жертвам, и в нем я черпала силы для жестокой жизненной борьбы». Несмотря на кажущуюся торжественность последних слов, как это бывает всегда, когда в зрелом возрасте женщина подводит итоги своей любви, жертва, принесенная Нейгаузу, была истинно велика – с этих пор она уже не говорила о продолжении консерваторского курса и никогда впоследствии не сетовала на погубленный талант. Ее предназначением стала забота о Нейгаузе. Все его концерты проходили при ее участии, она стала его ассистентом и в музыке, и в организации концертов, что в то тяжелое время было почти ежедневным подвигом. Самым сложным делом было не только приготовить зал, но даже достать рояль – для занятий, а иногда и для самого концерта.

Понимая, что талант Зинаиды Николаевны должен развиваться, Нейгауз приучил ее к ежевечерней игре в четыре руки. Она не могла бросить свою музыку. В тех их пристанищах, где можно было поместить рояль, они до утра играли в четыре руки всю консерваторскую программу. «Глядя на его руки, я усваивала больше, чем могла бы получить из объяснений», – вспоминала она. Так и решилась ее музыкальная судьба – впоследствии на протяжении всей жизни, до последних дней она играла в четыре руки с кем-то из близких.

Во время короткой дружбы с Горовицем он был ее партнером. Сразу же оценив музыкальный талант Зины и опасаясь за ее дальнейшую судьбу, Горовиц просил ее не прерывать серьезной пианистической работы. Она в ответ удивлялась: а разве работа с Нейгаузом – это не служение музыке? И разве возможно всерьез думать о сцене и собственном имени в музыке, будучи женой Нейгауза? Влюбленный в нее Горовиц был для нее мальчишкой, так она и вспоминала о нем. В поздние годы любила рассказывать ученикам своего сына Станислава о том, что ей было интереснее слушать самого Горовица, чем играть с ним в четыре руки. Она все просила его сыграть сонату Листа. Смутившись, Горовиц ответил: «Я не люблю ее, она тихо кончается».

Так Нейгаузы прожили в Киеве до 1922 года. Сама Зинаида Николаевна говорила, что спасали ее только любовь, молодость и музыка. О голоде, войне, болезнях и утратах она рассказывать не любила, как будто понимала с ранних лет, что это стоит беречь в памяти, но не делиться с другими – впереди совершенный разлом жизни, и еще война, и еще потери.

Внешне три киевских года их жизни с Нейгаузом выглядели очень напряженно – ежедневные занятия с учениками, подготовка к концертам, организация концертов, переезды, поиски более или менее достойного инструмента, скудное хозяйство, пригодное только для того, чтобы не умереть с голоду, и ежевечерние фортепианные занятия вдвоем.

В 1922 году Нейгаузу предложили место в Московской консерватории. Это было удачей. После первых же концертов в Москве Нейгауз сделался бесспорным любимцем капризной московской публики, сразу оценившей особенный нейгаузовский звук. «Под его пальцами инструмент приобретал певучесть, эмоциональную выразительность и разнообразие тембров... Когда он играл Бетховена, перед взором слушателей возникали образы старой Вены, оживали черты гениального мастера, его великое бунтарство, любовь к жизни и вера

в человека. Исполнение Шумана было проникнуто романтической страстностью его творческих грез... Откровением было и исполнение произведений Скрябина, когда звуки фортепиано, казалось, рождались не от удара молоточков по струнам, а возникали сами собой в воздушном пространстве», – вспоминали его коллеги о первых московских концертах. В Москве жизнь сразу переменялась. Помимо приехавших одновременно с Нейгаузами Blumenфельдов и Асмусов, появилось множество новых друзей, музыкантов и поклонников. Можно было не так ожесточенно бороться за жизнь и музыку, быт налачился, Нейгауз получил вполне заслуженные внимание и славу.

В 1925 году у Зинаиды Николаевны родился первый сын, Адриан. Она так тяжело рожала, что, едва очнувшись от мучений, на традиционный вопрос врачей, будет ли она рожать еще, из последних сил воскликнула: «Никогда!» Врачи засмеялись и предрекли ей скорую встречу в том же родильном доме имени Грауэрмана. Так и оказалось – через год она ждала второго ребенка. Как раз в это время она узнала от близкого ей человека об измене Нейгауза и, что еще страшнее, о существовании второй семьи и маленькой дочери. От самоубийства спасла только мысль о детях – Адике и о втором, еще не родившемся. Во время беременностей она продолжала много играть по вечерам, не думая еще, что кто-то из детей станет музыкантом, просто не могла без этого. Чаще всего играла этюды Шопена, которые в голодные киевские вечера разучивала в четыре руки с Нейгаузом, скерцо и баллады.

В марте 1927 года родился их второй сын, Станислав. Зинаида Николаевна была великолепной матерью, ее серьезное, спокойное и сосредоточенное материнство стало спасением от горя и распада. Мальчики Нейгаузы были необыкновенны. Оба вызывающе красивы, в одинаковых костюмчиках с белыми бантами, старший похожий на отца, а младший – на мать, они росли под постоянным ее присмотром. «Два брата с Арбата» – так шутливо называл их отец, а за ним и многие близкие и даже воспитатели. Они обучались всему, что было необходимо, но Зинаида Николаевна ждала момента, когда пора будет сажать их за рояль. Когда им исполнилось пять и шесть лет, она часами просиживала с ними за роялем. Оба сопротивлялись. Однажды с усмешкой сказала подруге: «Вчера Гаррик занимался с мальчиками. В них стулья летели!» Младший был несомненно талантлив. Она понимала, что ей предстоит еще одна тяжкая многолетняя забота – сделать из него музыканта.

Так прошел конец двадцатых годов. Зинаида Николаевна была необыкновенно деятельна. Она растила детей, занималась с ними, не прекращая бесконечной заботы о Нейгаузе, и, оставаясь его помощником в работе, постепенно сделалась матерью и ассистентом для всех троих. Внешне они выглядели блестяще. Об измене Нейгауза она не позволяла себе думать, но не думала и о себе самой, справедливо считая, что ее предназначение состоит только в служении семье, и судьба ее вполне сформировалась.

В круг обязанностей Зинаиды Николаевны входила и организация летнего отдыха. Она стремилась к тому, чтобы дети провели лето вдаль от города, а Нейгауз мог ежедневно помногу заниматься. Летом 1930 года она сняла несколько дач в поселке Ирпень под Киевом для своей семьи и для семей общих друзей, в числе которых была и семья Б.Л. Пастернака. Надо сказать, что у Зинаиды Николаевны с детства была довольно острая интуиция, она всегда предчувствовала опасность и часто смело рисковала в откровенно опасных ситуациях, как будто знала, что в этом случае не произойдет ничего страшного. Но именно в этом случае с дачами, перевернувшем ход жизни практически всех, кто выехал тем летом в Ирпень, она почему-то сняла Пастернакам дачу подальше от своей. То, что случилось этим летом, многократно вспоминалось и публиковалось, легло в основу пастернаковского цикла «Второе рождение»:

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.

Я на земле, где вы живете,
И ваши тополя кипят.
Льет дождь. Да будет так же свят,
Как их невинная лавина...
Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят.

«Вторая баллада»

Пастернак полюбил жену своего друга, которого сам боготворил и в музыку которого был влюблен.

Удар, другой, пассаж, – и сразу
В шаров молочный ореол
Шопена траурная фраза
Вплывает, как больной орел.
Под ним – угар араукарий,
Но глух, как будто что обрел,
Обрывы донизу обшаря,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

«Баллада»

Осенью, уже в Москве он без ведома Зинаиды Николаевны признался в этом Нейгаузу. Пережить это потрясение все его участники стремились наиболее достойно – рушились две семьи и в обеих были маленькие дети. Она решила уехать в Киев, взяла с собой своего любимца Адика и, как это часто бывает, положила на судьбу. Огромный натиск буквально всего музыкального Киева, обрушившегося на нее за то, что она бросает Нейгауза, выдержать было нелегко. Каждый, кто приходил к ней, был частью ее счастливой юности, прожитой с Нейгаузом в этом городе. Она намеренно поехала в Киев, а не в родной Ленинград, втайне надеясь, что любимые воспоминания вернут ее к прежней жизни и она забудет о приключившемся с ней. Оба – сначала Пастернак, а за ним Нейгауз – последовали за нею. После месяцев метаний она уехала с Пастернаком в Грузию и окончательно осталась с ним. Один из страшнейших периодов ее жизни, которого она вскользь касается в своих воспоминаниях, – первое время ее жизни с Пастернаком. Детей забрал к себе Нейгауз, и она стала приходящей матерью для своих сыновей, каждое утро отправлялась к ним, одевала их, гуляла с ними, затем кормила, занималась, а вечером уходила. Дети, в первые годы их жизни никогда не разлучавшиеся с матерью, не осмеливались даже спросить о том, что случилось. Присутствовавший при этих расставаниях Нейгауз не говорил ни слова, Пастернак, окрыленный любовью, умолял ее не усложнять жизнь и надеяться на лучшее. Не только знаменитый жилищный кризис в Москве начала тридцатых годов был виной этих страшных месяцев, большинство близких оказывали сильнейшее давление на Зинаиду Николаевну и она со свойственной ей жертвенностью решила остаться с Нейгаузом, считая, что Пастернак тоже должен вернуться к оставленной семье. Но Пастернак был настойчив, и постепенно внешне все наладилось. Участники драмы попытались зажечь другой жизнью.

И в жизни с Пастернаком Зинаида Николаевна оставалась прежней. Она родила третьего сына, Леонида, как всегда, действовала во имя своих близких, и ее повседневность снова стала служением им. Держать дом, растить маленького ребенка, заниматься со старшими, оберегать труд мужа – все это не менялось ни в благополучные времена, ни в тяжелые

годы. Вечером, когда вся работа была выполнена, она садилась за рояль и возвращалась к музыке. «... Рихтер сыграет этюд или 4 скерцо, те самые, которые ты играла по возвращении с Кавказа, и все в такой грустной, вновь облагороженной живости встанет передо мной, что меня ослепит тоска, и мне так захочется, чтобы все было тобою и ничего чужого не было, и чтобы мне не мешали знать и помнить тебя и быть занятым только тобою. Милый ангел, целую тебя, вспоминаешь ли ты меня?» – пишет Пастернак жене в эвакуацию в одном из первых военных писем, через десять лет после женитьбы на Зинаиде Николаевне, вспоминая их первые дни в Москве.

Война принесла не только общие для всех тревогу, разлуку и обездоленность. Старший сын Зинаиды Николаевны Адриан еще до войны заболел костным туберкулезом. В военные годы болезнь приобрела мучительный, необратимый характер. Зинаида Николаевна знала, что ее сын неизлечим и никакое чудо не спасет его. Мучения Адика усугублялись тем, что его клиника была эвакуирована за Урал, в то время как семья жила в Чистополе, на Каме. Последние тяжелейшие месяцы жизни он все же провел в подмосковном туберкулезном санатории рядом с матерью. Невозможно и помыслить о том, как могла эта женщина выдержать подобное: «Мы вернулись в Переделкино, и тут моя жизнь стала гораздо труднее, чем в Чистополе. Приходилось заботиться о Стасике, который переехал в город в связи с очень серьезными занятиями в училище, через день я ездила к Адикю, снабжала его продуктами, а потом, возвращаясь в Переделкино, обслуживала Борю и Ленечку». Как же ей доставалось от московских гранд-дам и великих жен и вдов за это слово: «обслуживать», подходящее, по их мнению, для подавальщицы в литфондовой столовой! И какое счастье для них, что на их долю не выпало и крохотной части того бремени, которое молча и достойно несла она... О смертельной болезни любимого сына она догадалась сразу, за несколько лет до его гибели, и со страшным, присущим ей немногословием приговорила себя словами о том, что его болезнь – это расплата за ее уход от Нейгауза к Пастернаку. Она была очень далека от мистического толкования событий и неосторожных слов, но про гибель Адика, скончавшегося в ужасных мучениях весной 1945 года, она просто знала, что это так. С тех пор в ее речи действительно преобладали слова: обязанность, обслуживать, кормить, обстирывать, создавать условия... Ей оставалось сделать еще очень много, у нее было два сына, музыкальные занятия Стасика, ставшего с тех пор старшим, воспитание маленького Лени и забота о Пастернаке, оберегание его работы. После смерти Адика она не опустила и не изменилась внешне – то же безукоризненно аккуратное платье, прямая спина, аккуратнейшая прическа, маникюр, папирота в изящных пальцах. Но теперь жизнь была уже не столько служением, сколько бесконечным терпением.

За успешными занятиями Станислава в училище, а затем и в консерватории она следила пристально. Они обсуждали вместе все исполнявшиеся им сочинения, все замечания преподавателей. Когда она поняла, что сын превзошел ее своим мастерством, то стала его постоянным слушателем, мысленно проигрывая все вместе с ним и дома, и на концертах. В четыре руки играла теперь с младшим сыном Леонидом и только тогда, когда инструмент Станислава бывал свободен. Леонид был талантливым музыкантом, но, к сожалению, не получил профессионального музыкального образования.

Генрих Густавович на всю жизнь остался ее другом. В одном из писем военных лет он пишет: «Радуюсь за Стасика, что он, очевидно, будет настоящим музыкантом. Была бы страсть и любовь – остальное приложится... В отношении игры пока еще старость не одолела. Зато почет и уважение, а также любовь со стороны учеников – огромны. Ученики делают прекрасные успехи – бацилла красоты попадает в их организм и действует...»

Сколько воспоминаний, и как часто я передумываю нашу прошлую жизнь – Киев, Клавдиево, Москву, и как сердце сжимается от тоски и боли».

Последний удар, выпавший на долю Зинаиды Николаевны, – травля Пастернака в связи с публикацией на Западе «Доктора Живаго» и присуждением ему Нобелевской премии, а затем и скорая его смерть – был пережит ею, как ей и было свойственно – достойно и несуетно.

После его смерти она нередко говорила о том, что устала и дел у нее уже нет. Она совершенно не умела играть роль бедствующей вдовы-просительницы, навязанную ей действительностью, и, не дожив и до семидесяти лет, умерла в 1966 году.

Перед смертью, незадолго до больницы, не сомневаясь в самом страшном диагнозе, она слушала симфонию Чайковского, и все в музыке ей говорило о ее прожитой жизни и о той боли, которую она по привычке не высказывала домашним.

Ее вспоминали многие знавшие ее. Упрекали в несхожести с типичными женами знаменитостей. Действительно, в ней совсем не было светскости, сентиментальности, игры, принужденности. Правда, красота ее была тяжелой, не располагавшей к простым отношениям, правда и то, что в быту она была невероятно строга. Но едва ли можно назвать более трудную судьбу и более красноречивый случай самоотречения, чем судьба и служение ближнему Зинаиды Николаевны Пастернак.

Ее средний сын Станислав Нейгауз, ставший известнейшим пианистом, перед концертом всегда подходил к портрету матери и стоял несколько минут в молчании. После концерта ставил рядом с портретом цветы. На восторженный отзыв о его исполнительском мастерстве он как-то сказал: «Все – мама».

Е. Л. Пастернак



Зинаида Пастернак Воспоминания



Детство



1

Я родилась в 1897 году в Петербурге. Моя мать перевезла меня на дачу на станции Саблино на реке Тосне. Из событий той поры запомнилось немного. Отец строил (он был инженером) бумажную фабрику на другом берегу Тосны, напротив нашей дачи. Справа находилась плотина с мостом. Дача стояла на высоком берегу, и под ней протекала обмелевшая в этом месте река. Детьми мы сбегали вниз под откос и собирали множество миног. Потом их солили на зиму и приготавливали с уксусом, перцем и другими специями. Дача была деревянная, двухэтажная. На верхний этаж вела лестница с перилами. Бочку с миногами, которых убивали живыми солью, плохо закрыли, и утром я увидела, что перила обвиты миногами, корчившимися в страшных муках, и шевелятся как живые. Миног собрали, а бочку на этот раз прикрыли крышкой и положили сверху большой камень. Так они должны были стоять несколько дней, после чего их жарили и мариновали.

Когда я родилась, моей маме было двадцать пять лет, а отцу пятьдесят. На моей маме он женился, овдовев, и от первой жены у него было три сына, чуть моложе мамы. У меня же было две сестры. Старшая была на четыре года старше второй, а средняя на четыре года старше меня. Следовательно, отец женился на моей маме, когда ей было семнадцать лет.

Два младших брата учились в корпусах и приезжали в каникулы на дачу, а старший брат, окончивший гимназию, жил постоянно на даче и не работал, потому что был очень болен. В семнадцать лет он стрелялся из-за любви к маминой сестре. Пуля попала в мозг, и ее нельзя было извлечь. Пуля перемещалась в мозгу и если нажимала на какой-то важный нерв, брат терял сознание. Он был очень хороший, образован, начитан и настроен весьма революционно. Я его очень любила. Он мне много читал, гулял со мной и заменял мне мою няню во время ее запоев. Старшие же сестры дружили больше с другими братьями.

¹ Воспоминания З. Пастернак, написанные в 1962–1963 годах, воспроизводятся по изданию: Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.П. Пастернак. З.П. Пастернак. Воспоминания. М.: ГРИТ, Дом-музей Б. Пастернака, 1993. В конце воспоминаний З. Пастернак отметила: «Писать эти воспоминания мне помогала Зоя Афанасьевна Масленикова». Фрагменты воспоминаний были опубликованы Е. Пастернак и М. Фейнберг с предисловием Л. Озерова во втором и четвертом номерах журнала «Нева» за 1990 год. В настоящем издании Воспоминания публикуются с небольшими сокращениями. Более поздние вставки напечатаны отдельно.

Запомнился наш участок перед дачей. Вокруг дома был цветник с клумбами, а вслед за ним песочная дорожка вела прямо в чудесный лес, где было много грибов, а осенью в мороз собирали клюкву и бруснику на болоте, которым лес кончался. В погребе всегда стояли бочки с солеными и маринованными грибами, с моченой брусникой и клюквой. В городе покупали только колбасу и масло.

Я очень любила ездить с мамой в Петербург. От дачи конкой добирались минут за двадцать до станции, а потом ехали поездом еще около часу. Отец конкой никогда не пользовался: по служебным делам он ездил в Петербург почти ежедневно, и у него была своя лошадь с коляской.

Как-то ранней весной прорвало плотину, и было несколько несчастных случаев. Меня не пускали из дому, но, подойдя к окну, я увидела страшное зрелище. Река мчалась как безумная, и по ней неслись люди. Всю ночь жгли костры и искали потонувших людей, вылавливали баграми с лодок и откачивали на берегу. Одного из потерпевших брат перенес к нам и под крышей сарая выхаживал его, несмотря на протесты отца. А я ликовала и носила ему еду и помогала брату ухаживать за ним. Его выходили, и он стал опять работать на фабрике.

Не могу не коснуться моих отношений к семье. Я обожала мать – она была красива, добра, и ее любили все дети вплоть до чужих сыновей. Вторым богом была для меня няня, которая, когда не пила, была просто ангелом. Отца я не любила, несмотря на всю его любовь ко мне. Он меня обожал, как самую маленькую. Перед каждым праздником он привозил подарки из Петербурга и, не в силах дожидаться утра, будил меня ночью и показывал, что он мне привез. Я спала наверху с мамой и отцом, и каждый вечер он одевал меня внизу в шубку и платки и на руках переносил наверх в спальню, никому не доверяя.

Детская моя находилась рядом со спальней отца и матери. Однажды я вбежала, не постучавшись, к ним в комнату, и мне показалось, что отец бьет мою маму. Я долго плакала и страдала, и где-то в глубине души отложились ненависть к нему и возмущение. Наверное, я ошиблась, потому что моя мама, уже после смерти отца, мне говорила, что он ее никогда не бил, а, наоборот, обожал.

У нас был доктор, безотказно навещавший нас во время болезней, и мне он казался святым человеком, так как он приезжал и по ночам не смыкал глаз, когда болел отец. Отец презирал его за то, что тот был евреем, не впускал к себе в комнату, и врачу было очень обидно.

Когда устраивали елку, мою няню не впускали в комнату, и она стояла почему-то в дверях, а я рвалась к ней с рыданиями, и отец строго отводил меня за руку. Я была смертельно обижена.

Все это повлияло на мое отношение к отцу, и когда он умер – мне было тогда семь лет, – я стояла за дверью, и крестилась, и радовалась. В мыслях были такие соображения: теперь няня всегда будет со мной, маму никто не станет бить, и доктор, обожаемый всеми, будет у нас в почете.

Вот все, что я помню об отце. Он умер в страшных муках от болезни сердца в 1904 году.

После смерти его мы еще прожили один год на даче, так как в Петербурге происходили беспорядки, связанные с революцией 1905 года. Старший брат переехал в Петербург, и мы все время волновались и не знали, где он. Потом выяснилось, что он строил баррикады и помогал революционерам.

Переселение в Петербург

Похоронив отца на кладбище на станции, где он родился, и получив пенсию за него сто пятьдесят рублей золотом, мама переехала в Петербург. Первая квартира была снята за пять рублей в месяц на Ямской, недалеко от Пяти Углов. У нас было пять комнат, и одна

из них была с «фонариком», из которого в одну сторону была видна вся Ямская, в другую – Пять Углов.

Так как отец умер в чине генерала, то мать устроила нас, троих дочерей, учиться в институт принца Ольденбургского на казенный счет. Мы были приходящие: уходили к шести утра и приходили в шесть вечера домой. Делали уроки и ложились спать.

Мама жила только на пенсию, и ей было трудно с нами, тремя дочерьми. Ей постоянно помогала ее старшая сестра, которая была богата, и мой двоюродный брат Николай Милитинский, впоследствии сыгравший большую роль в моей жизни.

Итак, мы стали учиться. Пять лет прошло без всяких потрясений. Жизни не видели, общества не было.

У нас в гостиной стоял рояль (неизвестно, кто и когда на нем играл) и граммофон, его заводили в праздники, когда к старшим сестрам приходили гости, и танцевали. Меня обычно отсылали спать. Пластинки были танцевальные; галопы, вальсы, польки. Моим любимым занятием было завести пластинку и на рояле играть в унисон. Когда мне было пятнадцать лет, за этим занятием меня застал мой двоюродный брат Милитинский. Он пришел в восторг от моего слуха и уговорил мать учить меня музыке. Стал доставать билеты в концерт на всех знаменитостей: Рахманинова, Гофмана, Шалапина. Он начал часто у нас бывать, вывозил меня в концерты, возился со мной.

Постепенно наша дружба переросла в любовь, нас стало тянуть друг к другу, и в один прекрасный день, когда никого не было дома, я сошлась с ним.

Ему было сорок с лишним, а мне шел шестнадцатый. У него были жена и двое детей. Я чувствовала, что это очень плохо, но ничего не могла поделать с собой, и как всегда бывает с первой любовью, она казалась мне последней и навсегда. Так чувствовал и он. От своих домашних я это скрывала, как преступление, а он все рассказал жене. Она приходила ко мне, уговаривала выйти за него замуж, так как ей все равно уже с ним не жить, говорила, что даст развод, и т. п. Мне она показалась святой, я плакала у нее на груди, обещала с ним порвать. Но ничего не выходило. Встречи учащались. Из института, в форме, надев вуаль, я шла на свидание с ним. Пришлось ему снять комнату, где мы проводили уже почти каждый день вместе с утра.

Я была в последнем классе и мне было семнадцать лет, когда началась Первая мировая война. В Петербург стали прибывать раненые. В институте открылись курсы сестер милосердия. Нижний этаж был отдан под госпиталь, и мы ухаживали за ранеными и дежурили по ночам. Раненые были тяжелые, и я до сих пор помню запах при входе в палату; смесь йодоформа с кровью. В дежурке, ночью, если было спокойно, а это бывало редко, я пила крепкий чай, чтобы разогнать сон, и готовилась к выпускным экзаменам.

В этом же году я стала заниматься музыкой с преподавательницей, которую прислал и оплачивал Николай. Я занималась с большим увлечением и делала успехи. Когда я с серебряной медалью окончила институт, я держала экзамены в консерваторию и была принята сразу на средний курс к профессору Лембе, ученику Блуменфельда², к которому все стремились попасть как к лучшему профессору. Экзамен принимал Блуменфельд (впоследствии я вышла замуж за Г.Г. Нейгауза³, его родного племянника). После экзамена Блуменфельд

² ...и была принята сразу на средний курс к профессору Лембе, ученику Блуменфельда... – Лемба Артур Густавович (1885–1963), пианист, педагог, композитор, музыкальный критик. Профессор консерватории в Петрограде (с 1915 г.), Таллине (1920–1963), Хельсинки (1921–1922). Блуменфельд Феликс Михайлович (1863–1931), родной брат матери Г.Г. Нейгауза; выдающийся пианист и педагог, а также композитор, дирижер. Профессор консерватории в Петрограде (1897–1905 и 1911–1918), Киеве (1918–1922), Москве (с 1922). Дирижер Мариинского театра (1895–1911). Памяти Блуменфельда Пастернак посвятил стихотворение «Еще не умолкнул упрек...», написанное в 1931 году и вошедшее в книгу «Второе рождение».

³ ...я вышла замуж за Г.Г. Нейгауза... – Нейгауз Генрих Густавович (1888–1964), один из крупнейших российских пианистов и педагогов, автор ряда работ о музыкальном исполнительстве, в том числе книги «Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога» (М., 1958). Профессор консерватории в Тбилиси (1917–1918, с 1916 – преподаватель музыкаль-

подошел ко мне, ласково поздравил, рекомендовал заниматься с Лембой и обещал на старшем курсе взять меня в свой класс.

Успех с музыкой потряс меня своей неожиданностью, и я стала серьезно заниматься. Любовь, увлечение – все заслонила музыка, и я дала себе слово никогда не выходить замуж и посвятить ей всю мою жизнь. Через год (в шестнадцатом году) я перешла на старший курс.

Еще когда я была в шестом классе, мы перебрались на другую квартиру, поближе к институту, на Дворянской улице. Напротив был дворец Кшесинской, на балконе которого выступали с речами в 1917 году Ленин и другие революционные деятели. 21 февраля семнадцатого года я ехала в консерваторию на трамвае. Вдруг наш вагон и трамвай впереди нас остановились. Я торопилась и решила перейти к первому трамваю, но, подойдя, я увидела странное зрелище: вагон лежал на боку, и вокруг него собралась огромная толпа. Оказывается, была объявлена забастовка вожатых, а так как первый вожатый не послушался и вел трамвай, то вагон повалили на землю. Я побежала в консерваторию, а когда после урока возвращалась домой, навстречу мне шли демонстрации, и на плакатах большими буквами было написано: «Дайте хлеба!» и «Долой буржуев!». Где-то вдалеке слышалась стрельба. Я с трудом добралась домой, мама была в истерике и, увидев меня, решительно потребовала, чтобы я никуда не выходила, пока все не успокоится.

В это время у нас гостил младший из моих братьев Коля. Он был военным инженером и служил в ставке генерала Алексеева, находившейся в Могилеве. Отпуск его кончился, и он был обязан явиться вовремя в ставку. Мы переодели его в штатское и с сестрой и мамой пошли его провожать на Царскосельский вокзал пешком. Мы с трудом добрались живыми до вокзала, так как была стрельба, а оттуда домой.

На Дворянской у нас была круглая гостиная и полукругом шел балкон. К кухарке нашей часто приходил городской. Из-за этого городского нам пришлось покинуть Петроград. У нас восемь раз был обыск – все искали оружия, которого не находили, и утверждали, что с нашего балкона кто-то стрелял. Очевидно, кухарка прятала своего возлюбленного на балконе, и его поймали в полном вооружении и увели. На балкон же он мог легко попасть через выходившее на него кухонное окно. Почти каждую ночь раздавался стук в дверь. Я помню, как у меня колотилось сердце в подушку, а бедную маму мою от волнения разбил паралич – у нее отнялись левая рука и нога и язык.

Мы написали обо всем маминой сестре, жившей с мужем в бывшем Елисаветграде (ныне Кировоград). Муж ее был начальником кавалерийского училища, и у них была большая казенная квартира из восьми комнат. Когда мама стала поправляться и смогла двигаться, мы бросили квартиру с обстановкой, взяли только носильные вещи и переехали в Елисаветград. Пришел прощаться Николай Милитинский. Он уговаривал меня остаться в Петрограде, чтобы закончить музыкальное образование, но я пообещала вернуться осенью. Он помог нам при отъезде, обещал хранить нашу квартиру, и когда поезд медленно отходил, у него появились слезы. Я тоже плакала: какое-то предчувствие говорило мне, что эта разлука – навсегда. Как будто и мою музыку, так связанную с ним, оторвали у меня с кровью!

В Елисаветграде

Мы попали как в другой мир. В Елисаветграде все было спокойно. На плацу гарцевали юнкера, выделявая на чудесных лошадях всякие цирковые трюки, и из окна можно было ими любоваться. Они не имели права приходиться к нам, но у меня завелись подруги, у которых

ного училища РМО), Киеве (1919–1922, с 1918 – преподаватель), Москве (1922–1964). Среди его учеников – С.Т. Рихтер, Э.Г. Гилельс, С.Г. Нейгауз, Т.Д. Гутман, В.В. Горностаева, А.И. Ведерников. Первый муж Зинаиды Николаевны с 1919 по 1931 год.

они бывали, и мы перезнакомились с некоторыми. Один из них мне очень понравился, его звали Аркадий Романовский.

Мы приехали в Елисаветград летом 1917 года. На главной улице, которая называлась Дворцовой, было кафе, откуда доносилась музыка. По Дворцовой гуляли юнкера со своими барышнями. Однажды я встретила Аркадия, и он пригласил меня на бал и лотерею в юнкерское училище. Бал должен был быть через месяц, перед началом занятий. Гуляя с ним по Дворцовой, я увидела на афише программу концерта, который давал Генрих Нейгауз. В программе были Шопен, Бах и Шуман. Расставшись с Аркадием, я пошла купить себе билет в концерт, но билетов не оказалось. Я расспросила своих подруг о Нейгаузе и узнала, что его родители имеют тут свою музыкальную школу и живут постоянно в Елисаветграде, у них свой домик с садом. Весь музыкальный Елисаветград у них учится, они считаются лучшими преподавателями в городе, и у них полно учеников. Генрих – профессор Тифлисской консерватории, бывает здесь только наездами и имеет большой успех как музыкант и пианист.

Придя домой, я спросила тетю, не знакома ли она с Нейгаузами. Она сказала, что не знакома, но видит их ежедневно в любую погоду гуляющими вокруг юнкерского плаца по дорожке от четырех до пяти, и обещала показать мне их в окно в тот же день. Ровно в четыре часа показалась пара – мужчина с женщиной под ручку, а перед ними бежал маленького роста блондин с большой шевелюрой, под руку с дамой, – потом я узнала, что это была дочь елисаветградского помещика Милица Бородкина⁴. Про нее говорили в городе, что она невеста Генриха.

Через три дня он должен был давать концерт, и одна моя подруга уступила мне свой билет. Зал был переполнен. Стояла жара, и он играл не во фраке, а весь в белом – белой рубашке и белых брюках. Я была уже искушена исполнением Рахманинова, Гофмана, Сливинского и начала слушать с большим предубеждением, но после первого же аккорда поняла, что это пианист, не уступающий, а во многих отношениях и превышающий все, до сих пор мною слышанное. После концерта я была как во сне. Его певучий звук, его темперамент, общее целое – покорили меня. Я вернулась домой совершенно вне себя от счастья, что этот человек живет себе в Елисаветграде и такое вытворяет. Про себя я решила, никому в этом не признаваясь, что попрошу его позаниматься со мной и приобщусь к его высокому искусству.

Утром я подошла к их домику и позвонила. В одной комнате играли гаммы, в другой кто-то учил этюды Шопена. Безумно волнуясь, я спросила открывшую мне дверь женщину про Генриха Нейгауза. Она сказала, что он ходит заниматься к друзьям, так как здесь слишком много музыки и ему мешают. Она мне посоветовала прийти ровно в два часа, перед их обедом. Я села на скамеечку на плацу и стала ждать двух часов. Домой мне не хотелось, я боялась передумать. Я очень волновалась. Ровно без пяти два я снова позвонила к ним. Открыл дверь сам Генрих, было видно, что он недоволен, что к нему пришли без спроса. Но, взглядевшись в меня, он пригласил войти. Я ему рассказала, что я ученица Петроградской консерватории, что пришлось уехать, не закончив ее, и что моя мечта взять у него несколько уроков, пока он тут. Он попросил меня прийти на следующий день к его друзьям, у которых он занимается, где хороший рояль. Я должна была сыграть ему что-нибудь, а там, мол, будет видно.

На другой день я пошла по указанному адресу. Он посмотрел мою руку, слегка поморщился и сказал, что у меня слишком короткий пятый палец, потом показал свою маленькую руку и заметил: «У меня ведь тоже очень неудачная рука, но если умно и с головой приспособляться, то все выходит». Я сыграла ему два этюда Шопена и, кажется, первую часть сонаты Бетховена, какой – не помню. Он сказал, что я очень музыкальна и довольно ловко справляюсь с техникой, но постановка руки не совсем правильная (а откуда ей быть

⁴ Бородкина Милица Сергеевна (1890–1962), в юности невеста Г.Г. Нейгауза, позже его вторая жена (с 1933 г.).

правильной, когда я в семнадцать лет начала заниматься), и он согласился давать мне уроки, пока он в Елисаветграде. Однако скоро ему надо уезжать в Тифлис, где он профессорствует, а ему туда не хочется, а хочется в Киев, куда он получил приглашение преподавать.

Как-то сразу же почувствовалось, что моей музыкой он не очень восхищен, а наружностью очень. Я это поняла, и это мне было неприятно. Но я подумала: «А мне все равно, у меня в душе другое, и это другое я ему не отдам ни за что на свете. Возьму от него как от музыканта все, что мне надо, и скажу до свидания». Прощаясь, он ласково посмотрел на меня, нежно поцеловал мне руку и назначил прийти через три дня.

Когда я вернулась домой, то увидела, что мама с тетей кроют мне белое платье к балу. Как-то мне все показалось лишним, хотя это был только второй бал в моей жизни (первый был после окончания института). Итак, уроки начались. Я ходила заниматься с ним как в церковь. Все новое и новое открывалось мне в музыке, и какие счастливые минуты переживала я на уроках! Это было сплошное откровение, и все это было как-то так сильно, что я все забывала и не волновалась, когда ему играла.

В августе был юнкерский бал. В день бала утром приехал Николай Милитинский. Он ехал из Петрограда к жене в Анапу и заехал предупредить, что увезет меня на обратном пути в Петроград. Его обокрали в дороге, и он появился в одном костюме. Я уговорила его пойти на бал вместе со мной. Мой дядя дал ему свой костюм и белье, и мы отправились. Бал был роскошный, я танцевала без конца и весело торговала на лотерее. Успех я имела большой, за мной ухаживали. Николай Милитинский мрачно сидел весь вечер и наблюдал за мной. Мне было его очень жаль. Когда я подходила к нему перебраться несколькими словами, он смотрел на меня сурово, и я чувствовала, что будет скандал. Во время одной фигуры в кадрили, когда кавалеры выбирают себе даму, ко мне кинулось слишком много танцоров, и я увидела, как он ушел из зала. Придя домой, я узнала, что он пошел ночевать в гостиницу. Утром он прислал мне с курьером записку, чтобы я немедленно пришла к нему.

Состоялось тяжелое объяснение. Он кричал, что, если я с ним не уеду, он все расскажет моей маме, что он виноват во многом, я пошла по дурному пути, и он должен уберечь меня от этого, женившись на мне. Как всегда, упреки не попадали в цель: главного я не могла сказать ему, я очень увлеклась Нейгаузом, а бал, юнкера и танцы – все это пустяки, не страшно. Я валялась у него в ногах, просила прощенья и обещала, что с ним уеду, когда он будет возвращаться из Анапы в Петроград. Постепенно он успокоился, и когда я его провожала через три часа на вокзале, все было хорошо. Но в тот момент, когда поезд тронулся, он втащил меня в вагон. Я вырвалась от него и (на небольшом ходу) соскочила.

Больше я его никогда не видела. Через год он заболел свирепствовавшим на юге сыпняком и умер. Когда я была замужем уже за вторым мужем – Пастернаком, меня отыскала его дочка Катя и привезла мне мою карточку с косичками и белым бантом. Она сказала, что папа, умирая, просил, чтобы эту карточку передали мне как самое дорогое, что у него есть.

Осенью Нейгауз уехал в Тифлис, и я продолжала занятия с его сестрой⁵, тоже прекрасной пианисткой. Начались беспорядки. За год в Зиновьевске (так был переименован Елисаветград) было одиннадцать переворотов. Тут все теряется в моей памяти. Помню только, что мы с мамой переехали в снятую комнату и отделились от тети. Средняя сестра вышла замуж.

Летом 1918 года приехал из Тифлиса Нейгауз. Уроки возобновились. Но жизнь стала тревожная – власть менялась каждую неделю. Зиновьевск стоял близко от узловой станции Знаменка, и все банды – Махно, Зеленый, Маруська Никифорова, григорьевцы – заходили в город, расстреливали помещиков. Григорьевцы пробыли три дня и вырезали всех евреев, которые не успели спрятаться. Было лето, трупы было некому вывозить, и в городе стоял ужасный запах. Я никогда не видела такого зверства, и эти погромы оставили след на всю

⁵ ...и я продолжала занятия с его сестрой... – Нейгауз Наталья Генриховна (1884–1960), пианистка.

мою жизнь. Многие ученики Нейгаузов были евреи, они их прятали у себя в подвале, и их, к счастью, не нашли.

Осенью Нейгауз собирался в Киев и уговорил ехать туда же. Он обещал, что будет давать учеников и я смогу зарабатывать.

* * *

Я решила ехать учиться в Киевскую консерваторию. Это был жизненно важный вопрос для меня, а средств на поездку не было. Тогда я продала свои драгоценности. Этим денег мне хватило бы всего месяца на полтора, но, как это свойственно молодости, я мало думала о будущем. Ехала я к тетке (маминой младшей сестре) и кровом, по крайней мере, была обеспечена.

Выезжала я при белых в начале 1919 года, зимой. У меня были знакомые среди военных, и они удобно устроили меня в поезде.

Я не знала, выедет ли в Киев Нейгауз, так как не слишком верила его обещаниям. В Дарнице я вышла на перрон погулять и вдруг увидела его. Он прислонился к столбу и спал стоя. Я обрадовалась и побежала к нему. Он рассказал, что всю ночь простоял в переполненной теплушке и не спал, я попросила его подождать и, вернувшись в свое комфортабельное купе, поговорила со своими спутниками. Они тотчас согласились помочь этому большому музыканту и, забрав все его вещи, привели его к нам.

Ехали три дня (а езды там несколько часов). Всю дорогу мы были вместе. В Киеве я остановилась у тети, а Нейгауз отправился на Лютеранскую к своему другу, музыковеду Петру Петровичу Сувчинскому⁶. Он стал часто у нас бывать.

Время было трудное. Власти беспрестанно менялись, не было воды, продуктов, обесценивались деньги, и мои сбережения быстро растаяли. Как-то тетя узнала, что если мы поедем в Миргород за пшеном, то заработаем и сможем какое-то время прожить. Положение было безвыходное, а мне хотелось закончить учебу в консерватории, и я, недолго думая, согласилась. Мы оделись похуже и поездом отправились в Миргород. Там мы дешево купили у крестьян по пять мешков пшена. Все шло удачно, и мы погрузили наши десять мешков на подводу. Но, приехав на станцию в Миргороде, мы вдруг обнаружили, что потеряли паспорта, и тетин, и мой. Что было делать? В то время белые чинили один еврейский погром за другим, а у нас обоих был южный тип. Отец у меня был русским, а мать полуитальянка (фамилия моего деда была Джиотти), и мы обе ходили на евреек. За спекуляцию в сочетании с еврейской наружностью нас могли выбросить с поезда на полном ходу. Как часто бывает в опасные минуты жизни, напряжение и страх заставили работать смекалку. Мы пошли к начальнику станции и рассказали про свою беду. Можете вообразить, с каким недоверием отнесся он к рассказу двух бедно одетых и перемазанных в глине женщин. Он обозвал нас спекулянтками и обещал расстрелять... Тогда, как утопающий за соломинку, я ухватилась за спасительную мысль. Я попросила начальника станции позвонить в Зиновьевск моему дяде Карпенко, который был начальником кавалерийского училища. Еще не вполне доверяя нам, он соединился с Зиновьевском, и тут, к великой моей радости, я услышала в трубке голос самого дяди. Начальник станции и мой дядя были на «ты», они оказались однополчанами. Тут же вместо утерянных паспортов нам были выписаны отличные документы,

⁶ Сувчинский Петр Петрович (1892–1965), музыковед, музыкальный критик. Вместе с А.Н. Римским-Корсаковым основал журнал «Музыкальный современник» (1915). С 1920 года жил в эмиграции. Активно выступал в периодической печати, занимался издательским делом, пропагандировал русскую музыку. Сотрудничал с Н.Я. Мясковским, С.С. Прокофьевым, И.Ф. Стравинским, П. Булезом.

и вскоре мы со своими мешками очутились в Киеве. На вокзале мы удачно продали пшено, это обеспечило нам возможность просуществовать еще два месяца.

Дома я узнала, что в мое отсутствие по два раза в день приходил Нейгауз. Он негодовал, что я уехала, ему не сказав. Приведя себя в порядок, я пошла к нему на Лютеранскую, 32. Он познакомил меня с П.П. Сувчинским, который собирался за границу и оставлял ему две комнаты. В этой же квартире жила певица Бутомо-Незванова⁷. Это была женщина со всесторонними интересами, она увлекалась стихами, хорошо знала литературу и любила собирать у себя знаменитостей из артистической среды.

Генрих Густавович и я продолжали бывать друг у друга. При этих встречах мы рисковали головой: в Киеве чуть не ежедневно сменялись власти, и на улицах шла стрельба.

Месяц спустя тетя предложила повторить поездку. Я наотрез отказалась, о чем потом пожалела. Дело в том, что она поехала одна и приехала больная сыпным тифом, а будь я с ней, этого, может быть, и не случилось бы. Дома было холодно и голодно, и, несмотря на помощь Нейгауза, выходить ее не удалось; через неделю она умерла у меня на руках. Вдвоем с Генрихом Густавовичем, в сильнейший мороз, мы свезли ее на подводе на кладбище и похоронили. Вернувшись домой, я померила температуру. Оказалось – тридцать девять и восемь. Нейгауз и я решили, что у меня тоже сыпной тиф. Я умоляла его не приходиться, чтобы не заразиться, но он не слушался и самоотверженно ухаживал за мной. Ему даже удалось привести врача, который, к счастью, установил, что у меня не сыпняк, а воспаление почек. В этот же день Нейгауз перевез меня к себе на Лютеранскую и трогательно ходил за мной всю болезнь. Поправившись, я стала все силы отдавать тому, чтобы сохранить в эти трудные времена жизнь и здоровье этого крупного музыканта. Так в болезнях, лишениях и голоде началась наша совместная жизнь. Большое чувство обязывало меня к большим жертвам, и в нем я черпала силы для жестокой жизненной борьбы.

Приведу такой случай. Нейгаузу приходилось давать концерты в шерстяных перчатках с обрезанными пальцами и в шубе. Публика тоже сидела в шубах и платках. Однажды я подумала, что я буду не я, если не изменю этот порядок. Я пошла к заместителю директора консерватории Константину Николаевичу Михайлову и спросила, есть ли у него дрова. Он ответил, что дров очень много, но топить Большой зал нельзя – печь не в порядке. Мы пошли с ним в зал. Он показывал дыры в печке и утверждал, что топить опасно в пожарном отношении. Полушутя я спросила, будет ли он топить, если я почию печь. Он рассмеялся, посмотрев на мою тощую фигурку, и сказал, что эту печь не удавалось починить даже специалистам-печникам. Однако, заранее предсказав неудачу, он все же разрешил мне попробовать. Это было за два дня до концерта Нейгауза. Тогда у меня была восьмидесятилетняя работница – энергичная, крепкая старушка. Придя домой, я, тайком от всех, попросила ее развести в ведре глину с песком и приготовить несколько кирпичей. Рано утром, пока Нейгауз спал, мы притащили все это в консерваторию. Полдня мы с ней вдвоем вставляли кирпичи и обмазывали их глиной. Закончив работу, я потребовала вязанку дров, и мы с бабушкой затопили. Печка великолепно потянула. На прощанье я пристыдила Михайлова, сказав, что при желании даже в такое страшное время можно создавать человеческие условия для людей.

Но тут я совершила ошибку. Мне бы надо было затопить накануне, а я сделала это в день концерта. Отправляясь с Нейгаузом в консерваторию, я нарядилась в легкое платье и настояла, чтобы он надел фрак. Он артачился, возражал, что под шубой фрака все равно не будет видно, но, не желая меня огорчать, уступил. Я осталась в дверях и просила публику раздеваться, что было необычным для тех времен явлением. Разделись те, кого это предложение не застало врасплох. Концерт прошел не слишком удачно: Нейгауз плавал в поту, а

⁷ ...жила певица Бутомо-Незванова... – Бутомо-Названова Ольга Николаевна (1888–1960), певица, педагог.

публика задыхалась от жары. Но я доказала свою правоту, и Михайлов навел некоторый порядок в консерватории.

Концерты давали большой заработок. Мы увозили с них полный чемодан денег, но на них можно было купить два пучка укропа. Мы голодали, спускали вещи.

Однажды летом двадцатого года мы поехали на пляж с Генрихом Густавовичем и с Валентином Фердинандовичем и Ириной Сергеевной Асмус⁸, с которыми мы незадолго перед тем познакомились, завязав дружбу на всю жизнь. У Генриха Густавовича была нежная кожа. Он обгорел, весь покрылся волдырями, температура поднялась до сорока, и если бы одна треть тела не была свободна от ожогов, он мог умереть. Он пролежал полтора месяца в постели в страшных мучениях, и первые дни его приходилось переворачивать на простынях. Когда врачи позволили ему наконец выходить, был назначен симфонический концерт, в котором исполнялся Второй концерт для фортепиано с оркестром Листа A-dur. Генрих Густавович был еще слаб, но деньги кончились, и надо было играть. Мне очень хотелось ему чем-нибудь помочь. Тайком утром в день концерта я пошла на базар и продала свой единственный чемодан. Затем я отправилась к нашим знакомым, у которых был чудесный рояль фирмы «Бехштейн». На этом рояле Генрих Густавович любил заниматься, чего нельзя было сказать про рояль в консерватории. Я спросила, не позволят ли они на один вечер перевезти рояль в консерваторию. Пожав плечами, хозяева согласились. Я наняла подводу и грузчиков, денег хватило на оба конца. Плохой консерваторский рояль убрали и поставили «Бехштейн».

Вечером, идя в концерт, Генрих Густавович нервничал, говорил, что если бы был хороший рояль, он бы как-нибудь этот концерт доконал, играть на такой кастрюле невозможно. Но с первых же аккордов он узнал своего любимца и играл как никогда. Обнаружив, что это я перевезла рояль, он растрогался до слез.

Может быть, и не стоило бы упоминать эти факты, которых можно было бы привести много, но мне хочется рассказать о том, как любовь заставляет двигать горы даже в такие молодые годы (мне было тогда только девятнадцать лет)⁹.

Несмотря на трудные, голодные времена и частые смены властей, концертные и театральные залы были полны, в искусстве, в литературе ощущались подъем и оживление. В Киеве собиралось много известных музыкантов. Приехал дядя Нейгауза Блуменфельд, приглашенный преподавать в Киевскую консерваторию (тот самый Блуменфельд, который экзаменовал меня на приемных экзаменах в Петербургскую консерваторию). В это же время кончал консерваторию в Киеве по классу Блуменфельда шестнадцатилетний Владимир Горовиц, один из лучших пианистов современности. На всю жизнь остался в памяти его экзамен. Публики было так много, что стояли в проходах и даже на эстраде. Горовиц был редким виртуозом, и когда он исполнял технические этюды, в зале вставали, чтобы лучше видеть его руки.

Мы подружились с ним и постоянно бывали друг у друга, у Владимира Горовица была сестра Гиня, талантливая пианистка. Жилось и нам и им трудно, и мы с ней решили устроить концерт Нейгауза и Горовица на двух роялях. Она печатала билеты, а я с той же старушкой, с которой чинила печь в консерватории, ходила с ведром и с кистью по городу и расклеивала афиши.

Успех был бешеный. Народу пришло так много, что не попавшие в зал слушали, стоя на улице. По неопытности мы с Гиней считали, что после концерта можем получить деньги.

⁸ Асмус Валентин Фердинандович (1889–1965), философ, литературовед, профессор Московского университета. Асмус Ирина Сергеевна (1893–1946), первая жена В.Ф. Асмуса. Пастернак посвятил ей стихотворение «Лето» (1930). Дружья Зинаиды Николаевны и Генриха Густавовича Нейгауза и, позднее, Бориса Леонидовича Пастернака.

⁹ ...мне было тогда только девятнадцать лет. – Зинаиде Николаевне было двадцать два года. Горовиц Владимир Самойлович (1904–1989), крупнейший пианист-виртуоз XX века, ученик В.В. Пухальского и Ф.М. Блуменфельда. Окончил Киевскую консерваторию (1921). В 1925 году эмигрировал, с 1928 года жил в США.

Но в кассе сидел фининспектор. Он заявил, что наложил арест на выручку и не даст ни копейки. Оказалось, что налоги за концерт полагалось вносить заранее. С унылым видом мы поплелись без денег домой. На другой день мы отправились к начальнику финансовой инспекции. Мы были прощены на первый раз, и все обошлось благополучно.

В это время прочно установилась советская власть в Киеве. Несмотря на голодную, полную лишений жизнь, все верили в будущее и ощущали подъем. Друзья Асмусы оказались интересными и образованными людьми, мы по очереди устраивали музыкальные и литературные вечера.

Нейгауз отдавал много сил преподаванию: он имел большой класс. Сам он сидел за роялем всегда мало – техника у него была стихийного порядка, и все зависело от его внутреннего состояния. Приходя из консерватории, он усаживал меня за один рояль, сам садился за другой, и мы играли в унисон этюды Шопена. Это давало мне больше любых уроков. Глядя на его руки, я усваивала больше, чем могла бы получить из объяснений. Поражало, как умело и умно он распоряжался своей неудачной маленькой рукой.

Так мы жили три года. Я продолжала за ним ухаживать и вести хозяйство, не оставляя музыки. Не знаю, были ли мы счастливы, но нам казалось, что ничего от жизни нам больше не нужно.

В 1922 году Нейгауз и Блуменфельд были приглашены преподавать в Московскую консерваторию, и мы переехали в Москву. Блуменфельду и нам дали по одной комнате в доме на Поварской. Асмусы тоже перебрались в Москву¹⁰. Я радовалась этому: Ирина Сергеевна была моей ближайшей подругой.

В 1925 году я родила сына – Адриана Нейгауза¹¹, а через год стала ждать второго ребенка. И тут как-то пришла Ирина Сергеевна и сообщила мне потрясшую меня весть: Милица Сергеевна, которая была невестой Генриха Густавовича в то время, когда мы с ним познакомились, родила два года назад¹² от него девочку. Я была в ужасе, главным образом от того, что он мог скрыть это от меня. Взяв Адика на руки, я ушла из дому. Я долго ходила с ним по городу, и мне хотелось покончить с собой и убить сына. Но чувство материнства взяло верх, мне стало жаль ребенка, и из-за него я вернулась домой.

Произошла тяжелая сцена. Я горько плакала, а Генрих Густавович просил прощения. В конце концов я простила ему. После нашего объяснения он стал мягче и любовнее ко мне относиться, но в отношениях появилась трещина. В 1927 году родился сын Станислав¹³. В душе я никогда не могла забыть измены Генриха Густавовича. Она лежала тяжким камнем у меня на душе, и утешения я искала только в своих детях.

Мы жили четвером в одной комнате. Дети спали за занавеской, а по другую сторону стояли два рояля. Приходили бесконечные ученики, и в доме, не смолкая, гремела музыка. Из Ленинграда приезжал гостить на две недели Горовиц (и скрипач Мильштейн¹⁴) и не закрывал рояля по двенадцать часов в день. Мы иногда играли с Горовицем в четыре руки, я получала большое наслаждение. Часто играли мы в четыре руки и с Генрихом Густавовичем, этим ограничивались мои занятия музыкой – заботы и радости материнства отнимали у меня все мое время. В этой комнате на Поварской мы прожили около шести лет, а в 1928 году переселились в трехкомнатную квартиру в Трубниковском переулке.

¹⁰ ...тоже перебрались в Москву. – Асмусы переехали в Москву в 1926 году.

¹¹ Нейгауз Адриан Генрихович (1925–1945), старший сын Зинаиды Николаевны и Генриха Густавовича Нейгауза.

¹² ...два года назад... – Нейгауз Милица Генриховна (р. 1929), дочь Милицы Сергеевны и Генриха Густавовича Нейгаузов, математик.

¹³ Нейгауз Станислав Генрихович (1927–1980), младший сын Зинаиды Николаевны и Генриха Густавовича Нейгауза, пианист.

¹⁴ Мильштейн Натан Миронович (1904–1992), один из крупнейших скрипачей прошлого столетия. В 1920–1925 годах концертировал с Горовицем. С 1925 живет за границей, с 1928 года – в США.

Все эти годы мы ездили летом под Киев на дачу и брали с собой маленьких детей. С нами всегда ездили туда и Асмусы. Мы были очень близки с ними. Ирина Сергеевна любила поэзию и ничего не понимала в музыке, но это не мешало ей дружить с Генрихом Густавовичем, так как он хорошо знал литературу и помнил на память много стихов. Вообще он был всесторонне образованным человеком, владел пятью языками. Я считала себя по сравнению с ним ребенком и малообразованной, стелила свою жизнь под него и не успевала много читать, даже бросила музыку.

Однажды, помнится, это было в 1928 году, к нам пришли Асмусы, и Ирина Сергеевна принесла с собой книжку стихов Пастернака¹⁵ «Поверх барьеров». Она, Генрих Густавович и Асмус безумно восхищались его стихами. Мы всю ночь сидели и читали их вслух. О себе должна сказать, что я гораздо холоднее относилась к творчеству Пастернака, многие его стихи мне казались непонятными, а восторги мужа и Асмусов – наигранными. Их увлечение Андреем Белым мне тоже было непонятным, так как мое понимание современной поэзии заканчивалось на Блоке, которого я очень любила.

Спустя год Ирина Сергеевна радостно прибежала к нам и сообщила, что познакомилась с Пастернаком. Знакомство было оригинальным: узнав по портрету Пастернака, лицо которого было не совсем обычным, она подошла к нему на трамвайной остановке и представилась. Она сказала ему, что муж и она горячие поклонники его поэзии, и тут же пригласила его к ним в гости. Он обещал прийти в один из ближайших дней.

Ирина Сергеевна хотела, чтобы мы обязательно были у них. Я была уверена, что Пастернак не придет, попросила Генриха Густавовича пойти без меня и осталась дома с детьми. Оказалось, что Пастернак все же пришел и просидел с ними всю ночь. Все они пришли от него в какой-то раж и день и ночь говорили только о нем. Он произвел впечатление огня, который шел как бы изнутри, и сочетания этого огня с большим умом. Через неделю Пастернак пригласил Асмусов к себе на Волхонку, в дом напротив храма Христа Спасителя, где он жил с женой и сыном¹⁶. Мне очень не хотелось идти к ним, по всей вероятности, я где-то внутри боялась встречи с таким замечательным человеком. Я долго отказывалась, но Ирина Сергеевна настаивала. Она называла его чудом и была вся захвачена им. Я уступила, и мы пошли.

Этот человек тоже произвел на меня сильное впечатление. Он оказался хорошим музыкантом и композитором. Генрих Густавович много играл, и Пастернак был в восторге от его исполнения. Потом он читал свои стихи. Я всегда была прямым и откровенным человеком, и когда он спросил, нравятся ли мне его стихи, я ответила, что на слух я не очень поняла, мне надо прочитать их дома глазами. Он засмеялся и сказал, что готов писать проще. Этой фразе я не придавала никакого значения. Внешне он мне понравился: у него светились глаза, и он весь горел вдохновением. Я была покорена им как человеком, но как поэт он был мне мало доступен. Потребовалось время и вживание в его старые стихи, чтобы они стали постепенно проясняться, и со временем я полюбила их. Тогда же показалось, что как личность он выше своего творчества. Его высказывания об искусстве, о музыке были для меня более ценными, чем его труднодоступные для понимания стихи. Мы долго засиделись. Но мне очень не понравилась жена Пастернака, это невольно перенеслось и на него, и я решила больше у них не бывать. Асмусы и Генрих Густавович продолжали ходить на Волхонку без меня, я отговаривалась занятостью и хозяйством. Наконец Ирина Сергеевна призналась, что единственный человек, который ее по-настоящему в жизни захватил, – Пастернак, и она в

¹⁵ ...книжку стихов Пастернака «Поверх барьеров». – Вероятно, речь идет о сборнике «Две книги. Стихи» (М. – Л., 1927), на котором в 1930 году автором была сделана первая дарственная надпись Зинаиде Николаевне.

¹⁶ ...с женой и сыном. – Пастернак Евгения Владимировна, урожденная Лурье (1898–1961), художница, первая жена Пастернака. Пастернак Евгений Борисович (р. 1923), сын Евгении Владимировны и Бориса Леонидовича Пастернак, писатель, литературовед, биограф и издатель книг Б.Л. Пастернака.

него влюблена. Она беспощадно обращалась со своим мужем. Он был милым человеком, очень страдал, и я удерживала ее от афиширования ее чувства к Борису Леонидовичу.

Через год пришла пора переезжать на лето под Киев, куда мы всегда отправлялись вместе с Асмусами. Ирина Сергеевна сообщила, что Пастернаки тоже хотят ехать на дачу под Киев. Все просили меня, любительницу путешествовать, поехать снять всем дачи. Выбор остановился на Ирпене. Собрали деньги на задаток, и я отправилась в путь. Я сняла четыре дачи: для нас, Асмусов, Пастернака Бориса Леонидовича с женой Евгенией Владимировной и для брата поэта – Пастернака Александра Леонидовича с женой Ириной Николаевной.

За две недели я собралась, и с двумя детьми (Адику было четыре года, Стасику – три года), с нянькой, горшками и пеленками мы двинулись в путь. Вместе с нами выехали в Ирпень Асмусы. Записаны были адреса всех дач, кроме нашей, и мы долго кружили вокруг нее на подводе. Генрих Густавович сердился. Как всегда, надо было искать в Киеве рояль для Генриха Густавовича и перевозить его на подводе в Ирпень.

Дачи А.Л. и И.Н. Пастернаков и наша были рядом, а Б.Л. Пастернаку с женой и Асмусам я намеренно сняла подальше. Не помню уже точно, что побудило меня это сделать – вернее всего, ощущение опасности для меня частого с ними общения. Через две недели приехал Борис Леонидович с женой и сыном.

Первая наша встреча на даче была смешная. Босая и неприбранная, я мыла веранду, и вдруг вошел Борис Леонидович. Я была удивлена, когда он сказал: «Как жаль, что я не могу вас снять и послать карточку родителям за границу. Как бы мой отец – художник – был бы восхищен вашей наружностью!» Мне казалось, что он смеется надо мной, и я выразила ему недоверие.

В то лето в Ирпене жили наши друзья – литературовед Евгений Исаакович Перлин и его семья, несколько лет подряд снимавшие там дачу. Перлин, между прочим, обладал удивительной способностью предсказывать погоду. При ясном небе он мог сказать, что через десять минут пойдет дождь. Ему не верили, подтрунивали над его предсказаниями, но они неизменно сбывались. Всегда в жизни бывают памятные даты, когда помнишь событие и погоду в тот день. Он помнил погоду любого дня в году, и мы даже играли в такую игру: заставляли его отвечать на вопрос, какая была погода в такой-то памятный кому-нибудь из нас день, и он точно говорил. Он был образован, любил поэзию и был интересным человеком. Он мне очень нравился, и у нас было нечто вроде начинающегося романа. Перлин часто заходил к Асмусам, а у нас бывал редко: чувствовал ревность Генриха Густавовича. Встречались мы чаще всего у Асмусов. Иногда даже назначали свидания и уходили вместе гулять. Он любил музыку и приходил к нам, когда Нейгауз играл и мы созывали знакомых.

Ирина Сергеевна все больше и больше увлекалась Борисом Леонидовичем и по-прежнему настаивала, чтобы я ходила с ней к Пастернакам, а он все серьезнее, что я по-женски чувствовала, тянулся к нам. Он перешел с Генрихом Густавовичем на «ты» и все чаще попадался, как бы случайно, мне на пути. Я любила собирать хворост в лесу, и однажды он зашел ко мне и предложил свою помощь. Он так увлекся этим занятием, что собранного им топлива нам хватило на все лето. Меня удивило, что он так умеет все хорошо делать. Мне казалось, что такой большой поэт не должен быть сведущим в бытовых и хозяйственных делах. Генрих Густавович всегда, например, утверждал, что предел его ловкости – умение застегнуть английскую булавку. Когда в Гражданскую войну Генриху Густавовичу пришлось однажды поставить самовар, то он насыпал уголь туда, куда наливают воду, а воду налил в трубу. Своей хозяйственной деятельностью он вызывал восстание вещей. Я была сконфужена, когда Пастернак тащил ко мне вязанки хвороста. Я уговаривала его бросить, и он спросил: «Вам стыдно?» Я ответила: «Да, пожалуй». Тут он мне прочел целую лекцию. Он говорил, что поэтическая натура должна любить повседневный быт и что в этом быту всегда можно найти поэтическую прелесть. По его наблюдениям, я это хорошо понимаю,

так как могу от рояля перейти к кастрюлям, которые у меня, как он выразился, дышат настоящей поэзией. Он рассказал, что обожает топить печки. На Волхонке у них нет центрального отопления, и он топит всегда сам, не потому, что считает, что делает это лучше других, а потому, что любит дрова и огонь и находит это красивым.

Тогда я думала, что он мне подыгрывает, но в последующей жизни я убедилась, что это черта его натуры. Он любил, например, запах чистого белья и иногда снимал его с веревки сам. Такие занятия прекрасно сочетались у него с вдохновением и творчеством. Ежедневный быт – реальность, и поэзия тоже реальность, говорил он, и я не представляю, чтобы поэзия была надуманной.

В Ирпене я избегала ходить к ним: мне все меньше нравилась Евгения Владимировна. Она всегда была бездеятельна, ленива, и мне казалось, что она не обладает никакими данными для такой избалованности. Мы были совершенно разными натурами, и то, что казалось белым мне, то она считала черным. Бывать у них значило терпеть поправление, иногда одной фразой, моих нравственных устоев и идеалов. Теперь, когда все позади, я думаю: не это ли несходство привычек и вкусов было причиной их расхождения? Возможно, что моя сдержанность в отношении их дома увеличивала его тягу ко мне.

Лето промчалось мгновенно.

Борис Леонидович держался всегда где-нибудь вблизи и искал случая помочь мне в домашних работах. Недавно Николай Николаевич¹⁷ Вильям-Вильмонт, живший в то лето тоже в Ирпене, вспоминал, как Борис Леонидович помогал мне достать шестом сорвавшееся в колодец ведро и какой был у него счастливый вид. Борис Леонидович просто обожал игру Генриха Густавовича, а Нейгауз был влюблен в его стихи и часто читал мне их вслух наизусть, пытаясь приобщить меня к ним.

Однажды он выступил в Киеве, играл e-moll'-ный концерт Шопена для фортепиано с оркестром. Надвигалась гроза, сверкали молнии. Концерт был назначен в городском саду под открытым небом, и мы волновались – не разбежится ли публика, но дождь хлынул после его исполнения. Посвященное Нейгаузу стихотворение Бориса Леонидовича «Баллада» (Первая) навеяно этим концертом.

Ирина Сергеевна стала догадываться о чувствах Пастернака ко мне. Ей было больно, и она страдала. Я старалась убедить ее, что он бывает у нас так часто из-за Генриха, а не из-за меня и я не придаю никакого значения его увлечению, казавшемуся мне достаточно поверхностным. Однажды в его присутствии, забыв, что тут же сидит его жена, Ирина Сергеевна попыталась меня уколоть, сказав, что я не понимаю его стихи. На это я гордо ответила, что она совершенно права и я признаюсь в этом своем недостатке. Пастернак заявил, что я права, такую чепуху нельзя понимать, и что он за это меня уважает.

В таких бурях прошло все лето. У Евгении Владимировны не было тогда оснований ревновать и беспокоиться – я вела себя скромно и ничем не поощряла его ухаживаний.

Осенью все перебрались в Москву. Страдающая Ирина Сергеевна с Асмусом уехала раньше, а мы поехали вместе с Пастернаками. Я с Генрихом Густавовичем и двумя маленькими детьми заняли одно купе, а в соседнем поместились Пастернаки. Поезд уходил из Киева в девять часов вечера. Уложив детей спать, я вышла в коридор покурить. Генрих Густавович уже спал. Открылась дверь, и появился Пастернак. Мы стояли с ним часа три около окна и беседовали. В первый раз я заметила серьезную ноту в его голосе. Он говорил компли-

¹⁷ ...недавно Николай Николаевич... вспоминал... – Вильям-Вильмонт Николай Николаевич (1901–1986), исследователь немецкой и русской литературы, знаток Гете, переводчик, друг Пастернака. Он пишет: «Я застал их у колодца. Вооруженная багром, Зинаида Николаевна безостановочно баламутила колодезную воду, неотрывно глядя на что-то горячо говорившего ей Бориса Леонидовича. Я не мог удержаться от смеха, тем более что – в отличие от них – все уже знал о потерянном и вновь обретенном Алеше. Пастернак тоже разразился помолодевшим счастливым смехом, ничуть не разделяя смущения своей собеседницы» (Н.Н. Вильмонт. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. М., 1989. С. 168).

менты не только моей наружности, но и моим реальным качествам. Когда он сказал, что я со своим благородством и скромностью представляю для него идеал красоты, я тут же со всей прямоотой ответила ему: «Вы не можете себе представить, какая я плохая!» Он долго меня не отпускал и все допытывался, чем я плохая. Мне хотелось сократить этот затянувшийся разговор, и я наконец сказала ему, что с пятнадцатилетнего возраста жила со своим двоюродным братом, которому было сорок пять лет. Тогда мне казалось, что это предел большого чувства, при котором все разрешается, но, несмотря на это, я обвиняю себя в случившемся, и этот поступок всю жизнь меня преследует и мучит. Я говорила с ним со всей прямоотой, мне казалось, что этим признанием я смогу охладить его чувства. Я побаивалась их, хотя он ни словом о них со мной не обмолвился. Увы, это привело к обратному. Он сказал: «Как я это все знал! Конечно, вам трудно поверить, что, первый раз это теперь слыша, я угадал ваши переживания». Тут я пожелала ему спокойной ночи.

Вскоре по приезде в Москву он пришел к нам в Трубниковский. Он зашел в кабинет к Генриху Густавовичу, закрыл дверь, и они долго беседовали. Когда он ушел, я увидела по лицу мужа, что что-то случилось. На рояле лежала рукопись двух баллад. Одна была посвящена мне, другая Нейгаузу. Оба стихотворения мне страшно понравились. Генрих Густавович запер дверь и сказал, что ему надо серьезно со мной поговорить. Оказалось, что Борис Леонидович приходил сказать ему, что он меня полюбил и это чувство у него никогда не пройдет. Он еще не представлял себе, как все это сложится в жизни, но он вряд ли сможет без меня жить. Они оба сидели и плакали, оттого что очень любили друг друга и были дружны.

Я рассмеялась и сказала, что все это несерьезно. Я просила мужа не придавать этому разговору никакого значения, говорила, что этому не верю, а если это правда, то все скоро пройдет.

Как всегда в трудные периоды жизни, я всецело занялась детьми, а Генриху Густавовичу сказала, что нам с Борисом Леонидовичем лучше не встречаться и пореже у них бывать. Генрих Густавович отвечал, что это, наверное, не удастся, так как Пастернак, видимо, будет часто приходить.

Ирина Сергеевна страдала, мучилась, наша дружба ломалась, и я горько это переживала, потому что она была моя единственная подруга. Я обвиняла ее в том, что она в это время не щадила своего мужа, и советовала ей сдерживать себя. Мне всех кругом стало жалко.

С Пастернаком мы встречались редко, главным образом у Асмусов, где он продолжал бывать. Все было очень трудно и сложно. Я чувствовала, что у меня пробуждается грандиозное чувство к нему и что все это жестоко по отношению к моей семье, Асмусам и к его семье.

В декабре Нейгауз поехал в большое турне в Сибирь. Борис Леонидович стал по три раза в день приходить ко мне. Тут он сказал мне всю правду: он не представляет себе, как все сложится дальше, но какие бы выводы я ни сделала, он оставляет свою жену, так как жить с ней больше не может ни одного дня. Я говорила ему, что он преувеличивает, что нам обоим нужно бороться с этим чувством, что я никогда не брошу Генриха Густавовича и своих детей. Но все, что я ни делала для того, чтобы его оттолкнуть, приводило к обратному. Он ушел, и вскоре я узнала, что в тот же день он переехал от жены к Пильняку¹⁸ на Ямское Поле. Оттуда он каждый день приходил ко мне, принося новые стихи, составившие впоследствии книгу «Второе рождение».

В конце декабря он пришел как-то ко мне очень поздно, и я не пустила его на Ямское Поле. Он остался в ту ночь у меня. Когда наутро он ушел, я тут же села и написала письмо

¹⁸ Пильняк Борис Андреевич, настоящая фамилия Вогау (1894–1938), писатель. С 1921 года знаком и дружен с Пастернаком, который посвятил ему стихотворение «Другу» (1931). Откровенное высказывание в произведениях личной человеческой и гражданской позиции закрепило за писателем репутацию человека, «идущего на рожон». Подвергнут кампании травли. Арестован в октябре 1937 года; 21 апреля 1938 года был осужден и расстрелян; в 1956 году посмертно реабилитирован.

Генриху Густавовичу о том, что я ему изменила, что никогда не смогу продолжать нашу семейную жизнь и что я не знаю, как сложится дальше, но считаю нечестным и морально грязным принадлежать двоим, а мое чувство к Борису Леонидовичу пересиливает. Письмо очень было жестокое и безжалостное. Я была уверена, что он все это переживет, и написала прямо, считая это более порядочным. Он получил мое письмо в день концерта. Как рассказывал мне потом его импресарио, во время исполнения Нейгауз закрыл крышку рояля и заплакал при публике. Концерт пришлось отменить. Этот импресарио потом говорил, что я не имела права так обращаться с большим музыкантом.

Нейгауз отменил все последующие концерты этой гастроли и приехал в Москву. Увидев его лицо, я поняла, что поступила неправильно не только в том, что написала, но и в том, что сделала.

Пришел Борис Леонидович, и мы сидели втроем и разговаривали, и каждое наше слово ложилось на всех троих как на оголенную рану. Они стали оба спрашивать меня, как я представляю последующую жизнь. Я отвечала, что для того, чтобы разобраться в себе, я должна от них уехать.

В Киеве у меня было много приятелей и друзей, и через три дня после этого разговора я взяла Адика и отправилась с ним туда. Остановилась я у своей подруги – невестки Е.И. Перлина. Жизнь моя была мучительна. Слух, что я бросаю Генриха Густавовича, облетел весь Киев. Ко мне стали приходить его бывшие ученики с увещеваниями. Говорили, что я не имею права ломать жизнь такого большого музыканта, что у меня нет сердца, я жестокая, если его брошу, он погибнет, и я буду виновата в его смерти. Мать любимого ученика Генриха Густавовича – Гутмана – потрясла меня. Она предсказала мне ужасную жизнь с Пастернаком, как бы он меня ни любил, как бы мне ни поклонялся – у него есть семья, и всегда в наших отношениях будет трещина. Она рассказала, что у нее тоже было такое в жизни, и никакая любовь не смогла залечить семейных ран. Иногда устраивали нечто вроде общих собраний у меня, и напор был так велик, что я готова была поддаться и заглушить в себе чувство к Борису Леонидовичу.

Он писал большие письма, по пять-шесть страниц, и все больше и больше покорял меня силой своей любви и глубиной интеллекта.

Через две недели он приехал ко мне и тоже поселился у моей подруги Перлин. Он уговаривал меня развестись с Генрихом Густавовичем и жить только с ним. В эти дни я была совершенно захвачена им и его страстью. Через неделю ему пришлось уехать¹⁹, так как в Киев приехал давать концерты Генрих Густавович, и Борис Леонидович не хотел нам мешать.

Как и всегда после удачного концерта, мне показалось, что я смертельно люблю Генриха Густавовича и никогда не решусь причинить ему боль. После концерта он пришел ко мне, и тогда возобновились наши супружеские отношения. Это было ужасно.

Через двадцать дней, уезжая в Москву, он сказал мне: «Ведь ты меня всегда любила только после хороших концертов, а в повседневной жизни я был несносен и мучил тебя, потому что я круглый дурак в быту. Борис гораздо умнее меня, и очень понятно, что ты изменила мне». Это была жестокая правда. Расставаясь с Генрихом Густавовичем, я обещала все забыть и вернуться к нему, если он простит и забудет случившееся.

Как бы чувствуя на расстоянии эту драму, Борис Леонидович писал мне тревожные письма. Потом он опять приехал в Киев и сообщил мне, что Паоло Яшвили, замечательный грузинский поэт, был в Москве и предложил ему забрать меня и отправиться в Грузию и

¹⁹ *Через неделю ему пришлось уехать...* – Пастернак должен был ехать в Магнитогорск. Нейгауз находился в Киеве до приезда Пастернака. Яшвили Паоло (1895–1937), поэт. Познакомился с Пастернаком в 1930 году, один из его ближайших друзей.

обещал предоставить нам свою комнату. Как и всегда, увидев Бориса Леонидовича, я покорилась ему и со всем согласилась. Через три дня мы взяли билеты и уехали в Тифлис.

Я боялась писать Генриху Густавовичу. Конечно, в его глазах я могла показаться обманщицей, и он не понял бы меня, если бы я ему что-нибудь написала перед отъездом. А мне тогда казалось, что я не совершаю никакого преступления, что этот шаг не окончательный и я могу еще вернуться к Генриху Густавовичу. <...>

Устроили нас высоко в горах, в Коджорах, там всегда было прохладно. Полгода, проведенные в Грузии²⁰, превратились в сплошной праздник. Борис Леонидович и я впервые увидели Кавказ, и его природа нас потрясла. Кроме того, нас окружали замечательные люди – большие поэты Тициан Табидзе²¹, Паоло Яшвили, Николо Мицишвили²², Георгий Леонидзе²³. Нас без конца возили на машинах по Военно-Грузинской дороге, показывая каждый уголок Грузии, и во время поездок читали стихи. Поразительная природа Кавказа и звучание стихов производили такое ошеломляющее впечатление, что у меня не было времени подумать о своей судьбе. Так мы объехали всю Грузию.

В августе мы переехали в Кобулеты на Черное море, где познакомились с Симоном Чиковани²⁴ и Бесо Жгенти²⁵. Мы жили с ними в одной гостинице. Здесь Борис Леонидович написал «Волны»²⁶ и читал их вслух. Меня удивило, что через три дня все грузинские поэты, несмотря на недостаточное знание русского языка, запомнили эти удивительные стихи наизусть. Они любили Пастернака больше всех современных поэтов, носили его на руках, и их любовь переносилась и на меня и на Адика. Пятилетний Адик не всегда мог присутствовать на наших пирушках, и поэты возились и играли с ним, а их жены уводили его и укладывали спать. Я подружилась с женой Тициана Табидзе²⁷, которая и по сей день большой друг нашего дома.

В Кобулетах мы прожили сентябрь и октябрь. Я забыла обо всей нашей прошлой жизни. Генрих Густавович два-три раза напоминал о себе – в письмах звучала тревога, ему снилось, что в горах мы с Адиком летим на автомобиле в пропасть и гибнем, и он умолял писать. Послали две-три телеграммы, сообщая, что все благополучно. Я обещала с ним встретиться и поговорить по приезду.

15 ноября²⁸ еще было тепло, все купались, и Паоло Яшвили провожал нас на вокзал в белом костюме, а в Москве было 15 градусов мороза. Мои зимние вещи остались у Генриха Густавовича, пришлось дать ему телеграмму, чтобы он встретил нас на вокзале с нашими шубами. Мы оба, я и Борис Леонидович, были в легкомысленном настроении и ничего не соображали, куда мы денемся в Москве. Я понимала, что после этой поездки я

²⁰ Полгода, проведенные в Грузии... – Июль – октябрь 1931 года.

²¹ Табидзе Тициан Юстинович (1895–1937), поэт, один из лидеров грузинского символизма. Изысканность стиха в его творчестве сочеталась с лирическим темпераментом, национальные мотивы – с образами европейской культуры. Близкий друг Пастернака. Арестован 10 октября 1937 года и вскоре расстрелян; в 1955 году посмертно реабилитирован.

²² Мицишвили Николо, настоящая фамилия Сирбиладзе (1894–1937), поэт, прозаик. Пастернак перевел его стихотворение «Сталин» (1934). Был арестован и расстрелян в 1937 году; в 1956 году посмертно реабилитирован.

²³ Леонидзе Георгий (1899–1966), поэт. Дружил и переписывался с Пастернаком, который перевел шестнадцать его стихотворений.

²⁴ Чиковани Симон Иванович (1902/3–1966), поэт. В двадцатых годах один из лидеров футуристической группы «Левизна», к началу тридцатых перешел к классическому строю стиха и современной тематике. Также был в дружеских отношениях с Пастернаком, который перевел тринадцать его стихотворений.

²⁵ Жгенти Бесо (1903–1978), критик, литературовед. Переписывался с Пастернаком.

²⁶ ...написал «Волны»... – Открывающий книгу «Второе рождение» цикл стихотворений «Волны» был написан в сентябре – октябре 1931 года в Кобулеты и в Москве и напечатан в «Красной нови» (1932. № 1).

²⁷ ...с женой Тициана Табидзе... – Табидзе Нина Александровна (1900–1964), ближайший друг Зинаиды Николаевны и Бориса Леонидовича, часто у них гостила. После гибели Т. Табидзе Пастернак взял на себя материальную и моральную поддержку его семьи.

²⁸ ...15 ноября... – 15 октября.

не имела морального права явиться к Генриху Густавовичу. Борис Леонидович уговаривал меня поехать на Волхонку, так как жена была еще за границей и он не представляет себе, где нам еще жить. Мне казалось неудобным приехать к нему на Волхонку в отсутствие жены. Он настаивал и говорил, что сейчас же потребует второго ребенка, Стасика – мы должны жить все вместе. Он надеялся своей добротой и с моей помощью смягчить страдания обоих людей – Евгении Владимировны и Генриха Густавовича.

Шубу и вещи привезла гувернантка Стасика. Она сообщила, что Стасик здоров и весел. Я другого не ожидала, была убеждена, что Генрих Густавович нас не встретит. Когда мы приехали на Волхонку, он пришел к нам. Тогда уже было напечатано «Второе рождение»²⁹. Эти стихи каким-то образом отделили меня от Генриха Густавовича в его сознании. Как два больших человека, Пастернак и Нейгауз имели свой общий язык, они часто встречались, и Борис Леонидович попросил отдать Стасика; впоследствии Генрих Густавович эту просьбу исполнил.

На Волхонке мы прожили уже целый месяц, когда до жены Бориса Леонидовича, находившейся с сыном в Германии, дошли слухи, что он живет со мной уже как с женой, и она прислала телеграмму, извещающую о ее возвращении. Нам надо было немедленно освободить квартиру. Пришлось переехать к Александру Леонидовичу³⁰ на Гоголевский бульвар.

Там было тесно, и мы спали на полу. Как всегда первым пришел на помощь Генрих Густавович, он взял Адика и Стасика к себе, и у меня началась трудная и в нравственном, и в физическом смысле жизнь. С утра я ходила на Трубниковский, одевала и кормила детей, гуляла с ними, а вечером оставляла их на гувернантку. Мне было очень тяжело, и меня удивляло оптимистическое настроение Бориса Леонидовича. Ему было все нипочем, он шутя говорил, что поговорка «с милым рай и в шалаше» оправдалась.

Евгения Владимировна мучилась. <...> Я собрала свои вещи и села на извозчика, сказав Александру Леонидовичу, чтобы передал брату, что, несмотря на мое большое счастье и любовь к нему, я должна его бросить, чтобы утишить всеобщие страдания. Я просила передать, чтобы он ко мне не приходил и вернулся к Евгении Владимировне.

Я ощущала мучительную неловкость перед Генрихом Густавовичем, но он так благородно и высоко держал себя в отношении нас, что мне показалось возможным приехать к нему. Я не ошиблась. Я сказала ему, чтобы он смотрел на меня как на няньку детей и только, я буду помогать ему в быту, и он от этого только выиграет. Он хорошо владел собой и умел скрывать свои страдания. Меня поразили его такт и выдержка. Я сказала ему, что, по всей вероятности, моя жизнь будет такова: я буду жить с детьми одна и подыщу себе комнату. Мы дали друг другу слово обо всем происшедшем не разговаривать. Я находила утешение в детях, которым отдалась всей душой, и мне тогда казалось, что это хорошо и нравственно.

Но через неделю стали появляться люди. Первым пришел Александр Леонидович с женой³¹. Они говорили, что Борис Леонидович просит меня вернуться, все равно он никогда не будет больше жить с Евгенией Владимировной (он по моей просьбе вернулся к ней, но через три дня не выдержал и ушел). Я умоляла не тревожить меня, мне казалось, что все со временем уляжется и я смогу побороть себя. <...>

Меня удивил тогда его брат. Он мне посоветовал опять уехать куда-нибудь, чтобы быть подальше от Генриха Густавовича и Бориса Леонидовича, пока я не разберусь в себе. Но мне

²⁹ ...напечатано «Второе рождение». – Книга «Второе рождение» была издана в 1932 году. Отдельные стихи из нее печатались в 1930–1931 годах в журналах «Новый мир», «Красная новь» и других периодических изданиях.

³⁰ ...К Александру Леонидовичу на Гоголевский бульвар. – Пастернак Александр Леонидович (1893–1982), архитектор, младший брат Б.Л. Пастернака.

³¹ ...с женой. – Пастернак Ирина Николаевна, урожденная Вильям (1898–1986), сестра Н.Н. Вильям-Вильмонта, жена А.Л. Пастернака.

не нужно было разбираться. Я уже решила пожертвовать своим чувством к Борису Леонидовичу, так как семья и дети оказались сильнее самой большой любви. Они ушли ни с чем.

Через два дня пришел брат Ирины Николаевны – Николай Николаевич Вильям-Вильмонт. Он не хотел беседовать со мной наедине, позвал Генриха Густавовича и разговаривал с нами обоими. Он говорил, что Пастернак его любимый поэт и он не позволит так его мучить, Борис Леонидович ходит сам не свой, говорит, что жить без меня не может, и нужно придумать какую-нибудь форму мыслимого существования. Вильмонт тоже любил Генриха Густавовича и был покорен его великодушием. Он просил принять Пастернака. Генрих Густавович сначала запротестовал, говорил, что он тоже человек и в такой раскаленной атмосфере не ручается за свои действия. Я молчала, так как Николай Николаевич, едва войдя, сказал, что такой жестокой женщины он не видал. Я объяснила эти слова непрозорливостью.

Когда он ушел, Генрих Густавович спросил меня, как бы я хотела устроить свою жизнь. Я отвечала, что больше всего я хочу жить отдельно с детьми: мое призвание матери оказалось всего сильнее на свете. Через несколько часов приехала Нина Александровна Табидзе. Она сидела у нас и не понимала, почему я рассталась с Борисом Леонидовичем, ей казалось это чудовищным. Не знаю, она ли его позвала или он сам пришел, но открылась дверь и вошел Борис Леонидович. Вид у него был ужасный! На лице было написано не только страдание и мучение³², а нечто безумное. Он прошел прямо в детскую, закрыл дверь, и я услышала какое-то бульканье. Я вбежала туда и увидела, что он успел проглотить целый пузырек йоду. К счастью, напротив нашей квартиры, на той же площадке, жил врач, еще не посмотрев на Бориса Леонидовича, он крикнул: «Молоко! Скорей поите холодным молоком!» Молоко было у меня всегда в запасе для детей, и я заставила его выпить все два литра, оказавшиеся на кухне. Все обошлось благополучно. Молоко вызвало рвоту, и жизнь его была спасена. Я уложила его на диван, и через некоторое время он смог разговаривать. Нина Александровна сидела около него и успокаивала и поклялась ему, что я к нему вернусь. Генрих Густавович был потрясен случившимся и сказал Борису Леонидовичу, что уступает ему меня навсегда, но он должен <...> придумать такую форму существования, при которой я смогу спокойно жить, ничего не опасаясь.

Его нельзя было перевозить, и он остался у нас ночевать. Борис Леонидович мне говорил, что я должна жить с обоими детьми и с ним, и дал мне слово немедленно приняться за хлопоты о квартире. На другое утро мы переехали опять к его брату, и он начал хлопотать о жилье. Как ни странно, через две недели дали нам квартиру на Тверском бульваре из двух комнат, со всеми удобствами. Но квартиру надо было чем-то обставить, и Генрих Густавович, опять весьма великодушно, отдал кое-что из мебели. Мы купили какую-то дешевую кровать для себя. Несмотря на бедную обстановку, мы были очень счастливы. При доме был садик, где я гуляла с детьми, а обеды мы брали тут же в литфондовской столовой. Таким образом я обходилась без работницы.

Так мы жили спокойно три месяца. Потом опять появилась Евгения Владимировна. Квартира ей очень понравилась, и она попросила нас поменяться с ней. Мне очень не хотелось расставаться с этим уютным и обжитым углом, к тому же я не доверяла ей и боялась, что снова придется куда-нибудь переезжать. Но площадь в квартире на Волхонке была больше, и Борис Леонидович меня уговорил.

Мне было больно, что Борис Леонидович живет с моими детьми и разлучен со своим сыном. <...> По-человечески вполне понятно, что Борис Леонидович мучался угрызениями совести. (Впоследствии эти переживания были ярко выражены в том месте романа, где Лара

³² ...не только страдание и мучение, а нечто безумное. – Пастернак – в письме к Ольге Михайловне Фрейденберг от 1 июля 1932 года: «Я с ума сошел от тоски. Между прочим, я травился в те месяцы и спасла меня Зина. Ах, страшная была зима». (Переписка Бориса Пастернака. М., 1990. С. 15.)

приезжает с дочкой Катей к Живаго, и ему очень не хочется, чтобы Катя легла в кроватку его сына.)

Когда мы переехали на Волхонку, все стало немного спокойнее. Евгения Владимировна к нам не приходила. Но вскоре до меня дошли слухи, что Генрих Густавович стал пить и быт его совсем разладился. К нам приходили его ученики и просили на него повлиять. Мне пришлось написать родителям Нейгауза обо всем и попросить их ускорить намечавшийся переезд в Москву. (Когда я бросила Генриха Густавовича, его отец³³ написал мне суровое письмо. Там была такая фраза: «Гарри говорит, что Пастернак гений. Я же лично сомневаюсь, может ли гений быть мерзавцем».) Но, к всеобщему удивлению, этот самый отец, придя к нам на Волхонку познакомиться с Борисом Леонидовичем и навестить своих внуков, сразу же влюбился в него и, несмотря на свои девяносто с лишним лет, стал ежедневно приходиться к нам пешком с Трубниковского, не считаясь с дальностью расстояния <...>.

Для того чтобы Нейгауз мог жениться на Милице Сергеевне, я должна была дать ему развод. Борис Леонидович обрадовался. Теперь все должно было стать на свои места: он дает развод Евгении Владимировне, я Генриху Густавовичу, и мы с ним идем в загс³⁴.

Мы так все это и сделали. В загсе меня спросили, какую фамилию я хочу носить. Из-за детей я хотела оставить фамилию Нейгауз, но Борис Леонидович отвел меня в сторону и сказал, что он суеверен, что не может с этим согласиться и просит меня быть Пастернак. Мне пришлось вернуться и заявить, что я передумала.

Теперь все наладилось. Детей я устроила в детский сад. Борис Леонидович много работал, писал стихи, переводил. Часто приезжали грузины, и у нас устраивались вечера на двадцать пять человек.

В 1933 году его пригласили на Урал³⁵ посмотреть заводы и колхозы, познакомиться с жизнью в тех местах и написать что-нибудь об Урале. Поездка предвиделась на три-четыре месяца. Борис Леонидович поставил условием, что возьмет с собой жену и ее детей. Мы пригласили в поездку двоюродную сестру Генриха Густавовича Тусю Blumenфельд (дочь известного композитора и дирижера Феликса Blumenфельда). Она очень любила детей и прекрасно с ними ладила.

Первое время мы жили в гостинице «Урал» в Свердловске. Столовались мы в обкомовской столовой. Потом нас переселили на озеро Шарташ под Свердловском и дали нам домик из четырех комнат. Время было голодное, и нас снова прикрепили к обкомовской столовой, где прекрасно кормили и подавали горячие пирожные и черную икру. В тот же день к нашему окну стали подходить крестьяне, прося милостыню и кусочек хлеба. Мы стали уносить из столовой в карманах хлеб для бедствующих крестьян. Как-то Борис Леонидович передал в окно крестьянке кусок хлеба. Она положила десять рублей и убежала. Он побежал за ней и вернул ей деньги. Мы с трудом выдержали там полтора месяца. Борис Леонидович весь кипел, не мог переносить, что кругом так голодают, перестал есть лакомые блюда, отказался куда-либо ездить и всем отвечал, что он достаточно насмотрелся. Как я ни старалась его убедить, что он этим не поможет, он страшно возмущался тем, что его пригласили смотреть на этот голод и бедствия затем, чтобы писать какую-то неправду, правду же писать было нельзя. Я пыталась его отвлекать, устраивала катание по озеру на лодке.

Однажды мы чуть не погибли. В тихую ясную погоду мы переехали на другую сторону Шарташа. Там мы долго гуляли, собирали малину, грибы. Вдруг совсем неожиданно на озере появились белые гребешки, и Борис Леонидович уговорил нас ехать немедленно домой. Он взялся за весла, Туся – за руль, а я сидела на скамеечке с двумя детьми. На сере-

³³ ...его отец... – Нейгауз Густав Вильгельмович (1847–1938), пианист, педагог.

³⁴ ...и мы с ним идем в загс. – Брак был зарегистрирован 21 августа 1933 года.

³⁵ В 1933 году его пригласили на Урал... – Поездка на Урал состоялась в июле – августе 1932 года.

дине озера волны стали перехлестывать через борт лодки, лодку заливало. Нас спасло умение Бориса Леонидовича управлять лодкой, и мы чудом добрались до берега. Очевидно, пережитое напряжение не прошло даром. Каждый мускул Бориса Леонидовича дрожал, и он сильно побледнел. Все мы были измучены и как бы вернулись с того света.

Борис Леонидович стремился уехать в Москву. Я понимала, что ему тяжело жить в такой обстановке, видеть голод и несчастья крестьян. Отговорившись болезнью Бориса Леонидовича, мы попросили взять нам билеты в Москву. Предлагали подождать еще неделю мягкого вагона. Борис Леонидович был непреклонен и говорил, что поедет в жестком. На вокзал нам принесли громадную корзину со съестным. Он не хотел брать, но я настояла, так как на станциях ничего нельзя было купить, а ехать предстояло четыре дня. Всю дорогу до Москвы мы ехали полуголодными; Борис Леонидович запретил открывать корзину и обещал раздать все соседям по вагону, если я нарушу запрет. Я очень хорошо его понимала, но со мной ехали маленькие дети, и я с краешку корзины доставала продукты и кормила сыновей тайком в уборной.

Меня поразила и еще больше покорила новая для меня черта Бориса Леонидовича: глубина сострадания людским несчастьям. И хотя на словах я не соглашалась с ним, но в душе оправдывала все его действия. На каждой остановке он выбегал, покупал какие-то кислые пирожки и угощал ими меня и Тусю. Дома мы открыли корзину. Продуктов оказалось так много, что мы питались ими целый месяц.

По приезде в Москву Борис Леонидович пошел в Союз писателей и заявил, что удрал с Урала без задних ног и ни строчки не напишет, ибо он видел там страшные бедствия: бесконечные эшелоны крестьян, которых угоняли из деревень и переселяли, голодных людей, ходивших на вокзалах с протянутой рукой, чтобы накормить детей. Особенно возмущала его обкомовская столовая. Он был настроен непреклонно и потребовал, чтобы его никогда не приглашали в такие поездки. Больших усилий стоило заставить его забыть это путешествие, от которого он долго не мог прийти в себя.

Связь с Грузией продолжалась и крепла. Он был очарован грузинскими поэтами и переводил Т. Табидзе, П. Яшвили, С. Чиковани, Г. Леонидзе. В 1934 году мы отправились в Ленинград на пленум грузинских писателей³⁶. Поселили нас в «Северной» гостинице (ныне «Октябрьская»). С нами были П. Яшвили и Т. Табидзе с женой. Это был сплошной праздник для Бориса Леонидовича. Его подымали на небывалую высоту как поэта и переводчика грузинских поэтов. С нами неотлучно были Николай Семенович Тихонов³⁷ и В. Гольцев³⁸. Тихонов часто приезжал из Ленинграда в Москву и останавливался у нас.

Я попала в Ленинград впервые после 1917 года. Мы показывали грузинам город, всюду их возили с собой. Мне была дорога эта поездка, я припоминала свое детство и мой первый роман с Николаем Милитинским. Как-то я сказала Н.А. Табидзе: «Как странно, что судьба забросила меня в ту самую гостиницу, куда я, пятнадцатилетняя девочка, приходила в институтском платье, под вуалью на свидание с Н. Милитинским». Никогда не думала, что она передаст этот разговор Борису Леонидовичу. С ним я была осторожна и бдительна в отношении моего прошлого, так как с первых дней нашего романа почувствовала непримиримую враждебность и ревность к Н. Милитинскому. Это мне было совершенно непонятно: я не испытывала никакой ревности к его прошлому. Особенно меня поразила один случай: когда

³⁶ ...на пленум грузинских писателей. – Декада грузинской литературы проходила в феврале 1935 года. 3 февраля был вечер в Москве, а 9 февраля – в Ленинграде.

³⁷ Тихонов Николай Семенович (1896–1979), поэт, в двадцатых-тридцатых годах был в дружеских отношениях с Пастернаком. Редактор издательства писателей в Ленинграде.

³⁸ Гольцев Виктор Викторович (1901–1985), литературный критик, в сфере профессиональных интересов – литература народов СССР, пристальное внимание уделял грузинской литературе. Пастернак посвятил ему стихотворение «Любка» (1927).

мы жили на Волхонке, приехала дочь Н. Милитинского Катя с Кавказа и привезла мою карточку с косичками. Эта карточка была единственной, которая уцелела от моего прошлого, и я ею дорожила. Катя неосторожно сказала при Борисе Леонидовиче, что отец, умирая, просил меня передать ее мне со словами, что я была единственной его женщиной, которую он любил. Через несколько дней карточка пропала, и я долго ее искала. Борису Леонидовичу пришлось признаться, что он ее уничтожил, потому что ему больно на нее смотреть. Уж если карточка имела такое действие, то что с ним было, когда Н. А. рассказала, что я встречалась с этим человеком в гостинице.

По приезде в Москву он заболел нервным расстройством – перестал спать, нормально жить, часто плакал и говорил о смерти. Я его начала лечить у доктора Огородова, но ничего не помогало.

В 1934 году я повезла его на дачу в Загорянку³⁹ и всячески старалась успокоить и поддержать, но состояние его ухудшалось. Я не могла понять, как может человек так мучиться из-за моего прошлого.

До нас дошли слухи, что в Париж на антифашистский конгресс едет советская делегация⁴⁰. Из крупных писателей здесь остались Бабель и Пастернак. Через два дня к нам на дачу приехали из Союза писателей просить Бориса Леонидовича срочно выехать на конгресс. Он был болен и наотрез отказался, но отказ не приняли и продолжали настаивать на поездке. Пришлось ехать в Москву, чтобы позвонить секретарю Сталина Поскребышеву и просить освобождения от поездки. При этом телефонном разговоре я присутствовала. Борис Леонидович отговаривался болезнью, заявил, что ехать не может и не поедет ни за что. На это Поскребышев сказал: «А если бы была война и вас призвали – вы пошли бы?» – «Да, пошел бы». – «Считайте, что вас призвали».

Хотя и было страшно отпускать его в таком состоянии здоровья, я его усиленно уговаривала, надеясь, что перемена обстановки будет способствовать его выздоровлению. К тому же мы узнали, что открытие съезда задержали из-за отсутствия Пастернака и Бабея. Я уговаривала его не потому, что боялась Поскребышева, а мне казалось, что Борис Леонидович будет там иметь успех и вылечится от своей болезни. На другой день после разговора с Поскребышевым, почему-то ночью, за Борисом Леонидовичем в Загорянку пришла машина. Мне не позволили его проводить, я волновалась, объясняла, что он болен и его нельзя отпускать одного. Мне отвечали, что его везут одеваться в ателье, где ему подготовили новый костюм, пальто и шляпу. Я этому поверила, это было неудивительно: в том виде, в котором ходил Борис Леонидович, являться в Париж было нельзя. Итак, он уехал в Париж.

Когда Борис Леонидович появился в Париже на трибуне (как мне рассказывали свидетели и очевидцы), то трехтысячный зал встал и ему устроили овацию. Он долго не мог говорить.

Из Парижа я получила только одно письмо на тринадцати страницах⁴¹, где он пишет, что хотел бы остаться там полечиться, но со всеми выезжает через Лондон в Москву.

³⁹ В 1934 году я повезла его на дачу в Загорянку... – Поездка состоялась летом 1935 года.

⁴⁰ ...в Париж на антифашистский конгресс едет советская делегация. – В делегацию входили: М. Кольцов, И. Эренбург, А. Толстой, Н. Тихонов, Г. Табидзе, Я. Колас, Ф. Панферов, Вс. Иванов, А. Лахути, В. Киршон, И. Луппол, И. Микитенко. Официально делегацией руководил А.С. Щербаков, но фактически – М. Кольцов. Из речи Пастернака сохранился только небольшой отрывок: «Поэзия остается всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, и, таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником» (Международный конгресс писателей в защиту культуры. Париж, июнь 1935 года. Доклады и выступления. Редакция и предисловие И. Луппола. Переводы Э. Триоле. М., 1936. С. 375). Но, как в 1945 году Пастернак рассказывал Исаяе Берлину, он говорил еще и о том, что писатели не должны объединяться.

⁴¹ ...одно письмо на тринадцати страницах... – В письме шестнадцать страниц.

Все жены, и я в том числе, отправились на вокзал встречать поезд из Ленинграда. К моему ужасу, Бориса Леонидовича среди приехавших не было. Руководитель делегации Щербаков⁴² отвел меня в сторону и сказал, что Борис Леонидович остался в Ленинграде, потому что ему (Щербакову) кажется, что он психически заболел. Он, Щербаков, считает, что я должна немедленно выехать в Ленинград. На вопрос, вызывает ли меня Борис Леонидович, он ответил отрицательно, но, по его мнению, я должна была ехать. С большой любезностью Щербаков помог мне достать билет в Ленинград и дал письмо в ленинградский Внешторг с просьбой мне выдать все вещи, приобретенные им в Париже и задержанные на таможне. Щербаков рассказал, что Борис Леонидович купил там только дамские вещи, это показалось подозрительным и багаж не пропустили. Себе же он не купил и носового платка.

Я в смятении отправилась в Ленинград. После его нежного письма из Парижа я была потрясена тем, что он не хотел меня видеть⁴³. Я приехала по адресу его двоюродной сестры Ольги Михайловны Фрейденберг⁴⁴, жившей напротив Казанского собора на Грибоедовском канале. Я ожидала его увидеть в ненормальном состоянии, волновалась и всю дорогу думала, как мне быть – везти его в Москву или лечить в Ленинграде. Но когда он вышел, похудевший, и, заплакав, бросился ко мне, я ничего не нашла в нем странного. Несмотря на обиды сестры, я тут же перевезла его в гостиницу «Европейскую».

Он сразу повеселел, стал хорошо спать и гулял со мной по Ленинграду. Так мы прожили неделю.

Перед отъездом я ему сделала сюрприз и показала письмо Щербакова во Внешторг. Он обрадовался, но боялся, что будет высокая пошлина.

Когда мы явились на таможню, нас ввели в комнату, где большой стол был завален действительно только женскими вещами, начиная от туфель и кончая маникюрным прибором. Нам сказали, что мы можем забирать все вещи бесплатно. Упаковав чемоданы, мы в ту же ночь выехали в Москву.

Борис Леонидович рассказывал мне о Париже, о знакомстве с Замятиным, с семьей Цветаевой, французскими писателями. Он говорил, что на всех он произвел впечатление сумасшедшего, что когда с ним заговаривали о литературе, он отвечал невпопад и переводил разговор на меня.

Он стал поправляться, но меня пугали его изжоги, и я уговорила его сделать анализ желудочного сока. Оказалось, что у него нулевая кислотность. Врач по секрету сказал мне, что такое бывает только при раке. Я немедленно повела его на рентген желудка и пищевода, но никаких опухолей не оказалось. Ему прописали пить перед едой соляную кислоту, через месяц все боли прекратились и больше не возобновлялись.

На следующее лето мы поехали⁴⁵ в дом отдыха «Одоево» под Тулой. С нами снова была Туся Блуменфельд, горячо привязавшаяся к детям. Дом творчества оказался хорошим, со своим хозяйством, и мы прожили там почти полгода.

В августе 1934 года состоялся Первый съезд писателей. Борис Леонидович уехал на съезд из Одоева один. Через две недели он вернулся в Одоево в хорошем настроении. На съезде его подымали на щит, он был избран в президиум. Только Сурков выступил против

⁴² Щербаков Александр Сергеевич (1901–1945), партийный, государственный деятель, оргсекретарь Союза писателей СССР (1934–1936).

⁴³ ...он не хотел меня видеть. – Пастернак отправил 16 июля 1935 года из Ленинграда телеграмму З. Пастернак с просьбой, чтобы она не приезжала.

⁴⁴ Фрейденберг Ольга Михайловна (1890–1955), доктор филологических наук, исследователь античной литературы, фольклора и мифологии, профессор Ленинградского университета, двоюродная сестра Б.Л. Пастернака.

⁴⁵ На следующее лето мы поехали... – В Доме отдыха писателей № 3 в Одоеве Пастернаки провели июль – сентябрь 1934 года.

него⁴⁶. Бросая фразы о его мастерстве, он принижал его, говоря, что он непонятен массам и ничего не пишет для народа. Борис Леонидович выступал на съезде.

В 1936 году зимой был пленум писателей в Минске⁴⁷. Борис Леонидович не хотел ехать без меня и с большим трудом устроил мне поездку, так как жен писателей не брали (на пленуме оказалось только три жены: я, Сельвинская, Нина Табидзе). Везли нас по тем временам очень роскошно, и Борис Леонидович возмущался тратой огромных средств на писателей, которые, по его мнению, не заслуживали такого большого внимания от правительства.

На пленуме писатели поделились на группы. Мы оба с радостью встретили грузин: Паоло Яшвили, Тициана Табидзе с женой, Леонидзе, Чиковани, и все время были вместе, вместе осматривали город и до полуночи засиживались, читая стихи. Меня удивило тогда, что каждый выступавший, начиная говорить о литературе, съезжал на Пастернака. Большинство говорило, что Пастернак величайший поэт эпохи, и когда Борис Леонидович вышел на эстраду, весь зал поднялся и долго аплодировал, не давая ему говорить⁴⁸. Но в зале были и его враги, например венгерский писатель Гидаш, который утверждал, что Пастернак не первый поэт эпохи, а средний. А также выступил Эйдeman⁴⁹, латышский писатель, который сказал: «Пастернак действительно большой мастер, но везет только один вагон, в то время как мог бы вести целый состав»⁵⁰.

Как всегда, речь Бориса Леонидовича была зажигательна и подчас рискованна. Едучи обратно в Москву, Борис Леонидович возмущался безумной тратой денег на банкеты и дорожную кормежку, и все для того, чтобы выяснить вопрос, какое место он занимает в литературе. Он мне сказал, что никогда не интересовался тем, какое место он занимает, настоящий художник не должен иметь ощущения своего места, и он не понимает выступления товарищей.

⁴⁶ *Только Сурков выступил против него.* – Сурков Алексей Александрович (1899–1983), поэт, писатель, общественный деятель. Принимал участие в «идеологических кампаниях», после войны прочно вошел в число деятелей искусства, пользовавшихся особым доверием партийного руководства. Первый секретарь правления СП СССР (1953–1959). Официально всегда отрицательно отзывался о творчестве Пастернака, например, в резкой статье «О поэзии Пастернака» (Культура и жизнь. 1947. 21 марта). На Первом съезде писателей выступил с непримиримой критикой доклада Н. И. Бухарина, сказавшего в частности: «...Борис Пастернак – один из замечательнейших мастеров стиха в настоящее время, нанизавший на нить своего творчества не только целую вереницу лирических жемчужин, но и давший ряд глубокой искренности революционных вещей» (Стенографический отчет Первого Всесоюзного съезда советских писателей. Москва, 1934. С. 495). Не согласившись с «превознесением» Б. Пастернака и «недооценкой» Д. Бедного и В. Маяковского, А. Сурков в своем выступлении заметил: «При глубочайшем уважении как к мастеру и поэту, я все же вынужден сказать, что для большой группы наших поэтов, для большой группы людей, растущих в нашей литературе, творчество Б.Л. Пастернака неподходящая точка ориентации в их росте» (с. 512). И далее: «...когда Б.Л. Пастернак, до сего времени заманивший вселенную на очень узкую площадку своей лирической комнаты, сделает обратное движение и, богатый творческим опытом, выйдет в этот просторный мир, тогда и круг читателей Пастернака, ныне пропорционально его таланту узкий, расширится в десятки тысяч раз» (с. 513).

⁴⁷ *В 1936 году зимой был пленум писателей в Минске.* – Третий пленум правления Союза писателей СССР проходил в Минске с 10 по 15 февраля 1935 года.

⁴⁸ *...весь зал поднялся и долго аплодировал, не давая ему говорить.* – В своей речи на пленуме, которая была напечатана в «Литературной газете» 24 февраля 1936 года под названием «О скромности и смелости», Пастернак, в частности, сказал: «На мой взгляд, гений сродни обыкновенному человеку, более того: он – крупнейший и редчайший представитель этой породы, ее бессмертное выражение! Это количественные полюсы качественно однородного, образцового человечества. Дистанция же между ними не пустует. Промежуток этот заполнен теми «интересными людьми», теми необыкновенными и всегда третьими лицами, которые-то, на мой взгляд, и составляют толщу так называемой посредственности...»

⁴⁹ *А также выступил Эйдeman...* – Эйдeman Роберт Петрович (1895–1937), писатель, поэт, военачальник, комкор, председатель Осоавиахима (1932–1937). Был расстрелян; посмертно реабилитирован

⁵⁰ В своей речи «Литература и оборона» Р. Эйдeman сказал: «Да, Борис Пастернак замечательный поэт нашей страны и замечательный гражданин нашей страны... Вам, Борис Пастернак, дан замечательный паровоз. При помощи этого паровоза вы можете тянуть целый состав полезного груза. Мне было бы обидно, если бы вы использовали этот паровоз для одной только платформы, груженной хотя бы очень ценным грузом. Вы должны целый состав вести» (Литературная газета. 1936. 20 февраля).

Вскоре после нашего возвращения в Москву в Союзе писателей состоялось собрание писателей. Я на нем была. Выступление Бориса Леонидовича снова было рискованным. Он говорил, в частности, что пора прекратить банкеты, все не так весело, как кажется, и государство не в таком состоянии, чтобы тратить на писателей столько лишних денег.

Наступал 1936 год. Писателям предложили строить дачи в Переделкине и одновременно кооперативный дом в Лаврушинском. Денег у нас было мало, так как переводы грузин давали немного, а к работе, в которой по настоянию врачей был перерыв со времен Парижа, Борис Леонидович еще не приступил. Но мы все-таки сэкономили и внесли свой пай на квартиру в Лаврушинском, а дачи ничего не стоили, так как их строило государство.

Наша дача находилась против дачи Пильняка, а с другой стороны был дом Тренева. Дачи строились на широкую ногу, по пять-шесть комнат, и все они стояли в сосновом бору. Мне не нравился наш участок – он был сырой и темный из-за леса, и в нем нельзя было посадить даже цветов. Мы были недовольны огромными размерами дома – шесть комнат с верандами и холлами, поэтому, когда умер в 1939 году писатель Малышкин⁵¹, нам предложили переехать в чудную маленькую дачу с превосходным участком, солнечным и открытым. В этом нам помог Н. Погодин, который был в то время во главе Литфонда.

Одновременно велось строительство дома писателей в Лаврушинском. Создали кооператив, в который надо было вносить деньги. За пятикомнатную квартиру полагалось заплатить пятнадцать-двадцать тысяч, а у нас было накоплено восемь, и хватило только на две комнаты. Сначала пятикомнатную я обменяла с Фединым⁵² на трехкомнатную, но в конце концов и ее потребовалось обменять на двухкомнатную. Ко мне пришел конференсье Гаркави и сообщил, что строит холостяцкую квартиру из двух комнат, расположенную на восьмом этаже, с внутренней лестницей. Наверху должен быть кабинет с ванной, а внизу спальня с кухней. Гаркави предложил мне обменяться с ним. Боря уговаривал меня совсем отказаться от квартиры в городе и говорил, что можно обойтись одной дачей. Но я должна была заботиться о двух подрастающих мальчиках Нейгауза и хотела устроить для них этот угол, чтобы они могли учиться в Москве. Я тут же отправилась с Гаркави посмотреть эту квартиру. Я сообразила, что можно обойтись без внутренней лестницы, а общаться через лестничную клетку и сделать глухой потолок. За счет передней и внутренней лестничной площадки на каждом этаже выкраивалось еще по маленькой комнатушке. Таким образом, у меня получилось четыре небольших комнаты. Это было удобно: писатель отделялся от детского шума и от музыки Стасика. Мальчикам предназначался верхний этаж, а нам нижний.

Устроить это все было трудно, потому что требовалось разрешение главного инженера и согласие Моссовета, но у Гаркави были связи, мы с ним всюду ездили вместе и наконец с большими трудностями добились своего.

Я описываю это малозначашее событие оттого, что и по сию пору всех удивляет эта двухэтажная квартира, а в особенности в тридцать седьмом и тридцать восьмом годах, когда начались аресты, пошли разговоры, не в конспиративных ли целях у нас такая квартира. Кстати, потом дом перешел в ведение жакта, все внесенные пай вернули, и оказалось, что мы зря отказались от большой квартиры.

Пока шло строительство дачи и квартиры, мы жили на Волхонке. Туда к нам часто приезжали А. Ахматова, Н.С. Тихонов и Иракий Андроников⁵³ с братом Элевтером, гостили у нас, ночевали. В это время начались аресты. Однажды Ахматова приехала очень расстро-

⁵¹ Малышкин Александр Георгиевич (1892–1938), писатель, прозаик.

⁵² Федин Константин (1892–1977), писатель, академик, общественный деятель, первый секретарь (1959–1971) и председатель (1971–1977) правления СП СССР.

⁵³ Андроников Иракий Луарсабович (1908–1990), писатель, литературовед, мастер устного рассказа. Андроников Элевтер Луарсабович (1911–1990), физик.

енная и рассказала, что в Ленинграде арестовали ее мужа Пунина⁵⁴. Она говорила, что он ни в чем не виноват, что никогда не участвовал в политике, и удивлению ее этим арестом не было предела. Боря был очень взволнован. В этот же день к обеду приезжал Пильняк и усиленно уговаривал его написать письмо Сталину. Были большие споры, Пильняк утверждал, что письмо Пастернака будет более действенным, чем его. Сначала думали написать коллективно. Боря никогда не писал таких писем, никогда ни о чем не просил, но, увидев волнение Ахматовой, решил помочь поэту, которого высоко ставил. В эту ночь Ахматовой было плохо с сердцем, мы за ней ухаживали, уложили ее в постель, на другой день Боря сам понес написанное письмо⁵⁵ и опустил его в кремлевскую будку около четырех часов дня. Успокоенные, мы легли спать, а на другое утро раздался звонок из Ленинграда, сообщили, что Пунин уже освобожден и находится дома. Боря еще спал, я влетела радостно в комнату Ахматовой, поздравила ее с освобождением ее мужа. На меня большое впечатление произвела ее реакция – она сказала: «Хорошо», повернулась на другой бок и заснула снова.

Мне некуда было девать свою радость, и я разбудила Борю. Он был очень рад и удивлен, что его письмо так подействовало. Я не удержалась и сказала ему, что поражена равнодушием Анны Андреевны. «Неужели все поэты так холодно воспринимают события?» – спросила я. Он ответил: «Не все ли нам равно, как она восприняла случившееся, важно, что письмо подействовало и Пунин на свободе».

Мы долго ждали ее прихода к завтраку, но она не появлялась. Я боялась, что ей плохо, на цыпочках подходила к двери – она спала. Выйдя, наконец, к обеду, она сказала, что поедет в Ленинград на другой день. Мы с Борей уговаривали ее ехать тотчас же, в конце концов она согласилась, мы достали ей билет и проводили на вокзал.

Через много лет я ей высказала свое недоумение по поводу ее холодности, она ответила, что творчество отнимает большую часть ее темперамента, забот и помыслов, а на жизнь остается мало.

К нам иногда заходил О. Мандельштам. Боря признавал его высокий уровень как поэта. Но он мне не нравился. Он держал себя петухом, наскакивал на Борю, критиковал его стихи и все время читал свои. Бывал он у нас редко. Я не могла выносить его тона по отношению к Боре, он с ним разговаривал, как профессор с учеником, был заносчив, подчас говорил ему резкости. Расхождения были не только политического характера, но и поэтического. В конце концов Боря согласился со мной, что поведение Мандельштама неприятно, но всегда отдавал должное его мастерству.

Как-то Мандельштам пришел к нам на вечер, когда собралось большое общество. Были грузины, Н.С. Тихонов, много читали наизусть Борины стихи, и почти все гости стали просить читать самого хозяина. Но Мандельштам перебил и стал читать одни за другими свои стихи. У меня создалось впечатление, о чем я потом сказала Боре, что Мандельштам плохо знает его творчество. Он был как избалованная красавица – самолюбив и ревнив к чужим успехам. Дружба наша не состоялась, и он почти перестал у нас бывать.

Вскоре до нас дошли слухи, что Мандельштам арестован⁵⁶. Боря тотчас же кинулся к Бухарину⁵⁷, который был редактором «Известий», возмущенно сказал ему, что не понимает,

⁵⁴ ...Ахматова... рассказала, что в Ленинграде арестовали ее мужа Пунина. – Сын А. Ахматовой Лев Николаевич Гумилев (1912–1992) и ее муж искусствовед Николай Николаевич Пунин (1888–1953) первый раз были арестованы 27 октября 1935 года.

⁵⁵ Второе письмо на имя И. Сталина написала сама А. Ахматова. Э. Герштейн, к которой Ахматова приехала прямо из Ленинграда, пишет: «Пильняк повез Анну Андреевну на своей машине к комендатуре Кремля, там уже было договорено, кем письмо будет принято и передано в руки Сталину. Мне кажется, что оба письма были в одном конверте». Деятельное участие в хлопотах по освобождению Л. Гумилева и Н. Пунина принимали Л. Сейфуллина и ее муж В. П. Правдухин.

⁵⁶ ...дошли слухи, что Мандельштам арестован. – О. Мандельштама арестовали в ночь с 16 на 17 мая 1934 года.

⁵⁷ ...кинулся к Бухарину – Бухарин Николай Иванович (1888–1938), академик, редактор газет «Правда» (1918–1929) и «Известия» (1934–1937), политический деятель. В 1937 году был репрессирован, осужден по делу «правотроцкистского

как можно не простить такому большому поэту какие-то глупые стихи и посадить человека в тюрьму. Дело подвигалось к весне, и мы готовились к переезду на новую дачу, но пока все еще жили на Волхонке. В квартире, оставленной Боре и его брату родителями, мы занимали две комнаты, в остальных трех поселились посторонние люди. Телефон был в общем коридоре. Я лежала больная воспалением легких. Как-то вбежала соседка и сообщила, что Бориса Леонидовича вызывает Кремль. Меня удивило его спокойное лицо, он ничуть не был взволнован. Когда я услышала: «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович», – меня бросило в жар. Я слышала только Борины реплики и была поражена тем, что он разговаривал со Сталиным, как со мной⁵⁸. С первых же слов я поняла, что разговор идет о Мандельштаме. Боря сказал, что удивлен его арестом, и хотя дружбы с Мандельштамом не было, но он признает за ним все качества первоклассного поэта и всегда отдавал ему должное. Он просил по возможности облегчить участь Мандельштама и, если возможно, освободить его. А вообще он хотел бы повстречаться с ним, т. е. со Сталиным, и поговорить с ним о более серьезных вещах – о жизни, о смерти. Боря говорил со Сталиным просто, без оглядок, без политики, очень непосредственно.

Он вошел ко мне и рассказал подробности разговора. Оказывается, Сталин хотел проверить Бухарина, правда ли, что Пастернак так взволнован арестом Мандельштама. Боря был совершенно спокоен, хотя этот звонок мог бы взбудоражить любого. Его беспокоило лишь то, что звонок могли слышать соседи. Он позвонил секретарю Сталина Поскребышеву и спросил, нужно ли держать в тайне этот разговор, и предупредил, что телефон находится в коридоре коммунальной квартиры и оттуда все слышно. Поскребышев ответил, что это его дело. Я спросила Борю, что ответил Сталин на предложение побеседовать о жизни и смерти. Оказалось, что Сталин сказал, что поговорит с ним с удовольствием, но не знает, как это сделать. Боря предложил: «Вызовите меня к себе». Но вызов этот никогда не состоялся. Через несколько часов вся Москва знала о разговоре Пастернака со Сталиным. В Союзе писателей все перевернулось. До этого, когда мы приходили в ресторан обедать, перед нами никто не раскрывал дверей, никто не подавал пальто – одевались сами. Когда же мы появились там после этого разговора, швейцар распахнул перед нами двери и побежал нас раздевать. В ресторане стали нас особенно внимательно обслуживать, рассыпались в любезностях, вплоть до того, что когда Боря приглашал к столу нуждавшихся писателей, то за их обед расплачивался Союз. Эта перемена по отношению к нам в Союзе после звонка Сталина нас поразила.

Мандельштама тут же освободили из тюрьмы⁵⁹, переселили в Воронеж, где он жил на свободе, работал и переводил. И так он жил бы и работал, если бы не его вызывающее поведение. Не помню, сколько времени он прожил в Воронеже, но потом дошли слухи, что он снова арестован за какой-то новый выпад и сослан на Колыму⁶⁰, где он и погиб от дизентерии. Позднее пошли слухи, что Боря виноват в гибели Мандельштама тем, что якобы не заступился за него перед Сталиным. Это было чудовищно, потому что я сама была свидетельницей разговора со Сталиным и собственными ушами слышала, как он просил за него и говорил, что за него ручается.

антисоветского блока» и 13 марта 1938 года расстрелян; посмертно реабилитирован. Как позднее вспоминал Пастернак, по просьбе Н. Бухарина он написал стихотворения «Я понял все живое» и «Художник» для новогоднего номера «Известий» 1936 года.

⁵⁸ ... он разговаривал со Сталиным, как со мной. – Существует несколько версий разговора Пастернака со Сталиным – А. Ахматовой, Н. Мандельштам, Н. Вильмонта, С. Боброва.

⁵⁹ Мандельштама тут же освободили из тюрьмы... 28 мая О. Мандельштама выслали на три года в г. Чердынь Пермской области, 10 июля место высылки переменили и разрешили жить в Воронеже.

⁶⁰ ...сослан на Колыму... – О. Мандельштама арестовали снова 3 мая 1938 года; 2 августа его осудили на пять лет исправительно-трудовых лагерей. 27 декабря 1938 года поэт умер в пересыльном лагере близ Владивостока.

24 октября 1936 года мы праздновали мои именины у нас на даче. Собралось много гостей – приехали из города Асмусы, грузины, Сельвинские. Боря хотел пригласить Пильняка, но я относилась к нему с предубеждением, мне казались странными его литературные установки. То он приходил к нам и прорабатывал Борю за то, что тот ничего не пишет для народа, то вдруг начинал говорить, что Боря прав, замкнувшись в себе, что в такое время и писать нельзя. С ним очень дружил Федин, мы часто встречались, но в день моих именин я потребовала, чтобы Пильняка у нас не было – раз это мои именины, то ничего не должно меня огорчать. Боря говорил, что Пильняк из окна увидит большой съезд гостей и обидится. На другой день вечером мы пошли к Пильнякам, чтобы загладить неловкость. Тогда он был уже женат на сестре Наты Вачнадзе⁶¹ – Кире Георгиевне Андроникашвили⁶². У них был трехлетний сын Боря⁶³, очень черненький, за это его прозвали Жуком. Мы сидели у них, как вдруг подъехала машина и из нее вышел какой-то военный, видимо приятель Пильняка, называвшего его Сережей. Этот человек сказал, что ему нужно увезти Пильняка на два часа в город по какому-то делу. Мы встали и ушли.

Рано утром прибежала к нам Кира Георгиевна и сообщила, что Пильняка арестовали⁶⁴ и что всю ночь у них шел обыск. Она была уверена, что вскоре и ее заберут (тогда без жен не брали), и хотела отдать ребенка своей матери. Она не могла понять, почему этот Сережа, с которым он был на «ты», не предъявил ордер на арест и увез его тайком. Из окна утром я увидела, как делали обыск в гараже и конфисковывали вещи.

Все это было ужасно, и с минуты на минуту я ждала, что возьмут и Борю. Напротив нашей дачи жили Сельвинские и Погодины. Мы все ежедневно после ареста Пильняка ждали, что нас всех арестуют. Наступал 1937 год. Из Грузии пришли страшные вести: застрелился Паоло Яшвили⁶⁵, которого мы с Борей очень любили, вскоре арестовали Тициана Табидзе. Описать трудно, что творилось в нашем доме. Когда до нас дошли слухи о причинах самоубийства Паоло Яшвили и об аресте Табидзе, Боря возмущенно кричал, что уверен в их чистоте, как в своей собственной, и все это ложь. С этого дня он стал помогать деньгами Нине Александровне Табидзе и приглашал ее к нам гостить. Никакого страха у него не было, и в то время, когда другие боялись подавать руку жене арестованного, он писал ей сочувственные письма и в них возмущался массовыми арестами.

В Переделкине арестовали двадцать пять писателей. Мы очень дружили с Афиногеновым⁶⁶, которого очень любил Боря. Афиногенова исключили из партии, и его семья с минуты на минуту ждала его ареста. Все боялись к ним ходить. Боря, гордо подняв голову, продолжал бывать со мной у них. Меня поражали его стойкость и бесстрашие. Он говорил тогда, что это – стихия, при которой неизвестно, на чью голову упадет камень, и поэтому он ни капельки не боится, что будет писать прозу неслыханного порядка и с удовольствием разделит общую

⁶¹ Вачнадзе Наталья Георгиевна (1904–1953), актриса, снималась в кино с 1923 года.

⁶² Андроникашвили Кира Георгиевна (1908–1960), была арестована через месяц прямо на киностудии.

⁶³ ...трехлетний сын Боря... – Андроникашвили-Пильняк Борис Борисович, писатель, автор очерка «Пильняк, 37-й год» (Бор. Пильняк. Расплеснутое время. М., 1990), в котором рассказывает, с каким вниманием относился Пастернак к его матери после ареста отца.

⁶⁴ Рано утром прибежала... Кира Георгиевна и сообщила, что Пильняка арестовали... – Б. А. Пильняк был арестован на даче 12 октября 1937 года.

⁶⁵ ...застрелился Паоло Яшвили... – поэт погиб 22 июля 1937 года.

⁶⁶ Мы очень дружили с Афиногеновым... – Афиногенов Александр Николаевич (1904–1941), один из самых востребованных драматургов первой половины века, публицист, теоретик драмы. С 1936 года стал объектом политической и профессиональной травли, исключен из партии и СП СССР, его пьесы были запрещены. Возглавлял литературный отдел Совинформбюро с 9 сентября 1941 года. Погиб 29 октября во время обстрела немецкой авиацией здания ЦК партии. В дружеских отношениях с семьей Пастернака с 1937 года. На книге «Стихотворения в одном томе» рукой автора сделана дарственная надпись: «Новому другу – дорогому Александру Николаевичу Афиногенову на память о вечерах зимы и лета 1937 года. Б. Пастернак». В дневниках драматурга, запечатлевших острейшую душевную драму, много записей разговоров с Пастернаком от 1937 года (Вопросы литературы. 1990. № 2).

участь. При встрече с писателями он не боялся возмущаться массовыми арестами, а я по ночам просыпалась в ужасе, что очередь дойдет и до нас.

В 1937 году я забеременела. Мне очень хотелось ребенка от Бори, и нужно было иметь большую силу воли, чтобы в эти страшные времена сохранить здоровье и благополучно сохранить беременность до конца. Всех этих ужасов оказалось мало. Как-то днем приехала машина. Из нее вышел человек, собиравший подписи писателей с выражением одобрения смертного приговора военным «преступникам»⁶⁷ – Тухачевскому, Якиру и Эйдеману. Первый раз я увидела Борю рассвирепевшим. Он чуть не с кулаками набросился на приехавшего, хотя тот ни в чем не был виноват, и кричал: «Чтобы подписать, надо этих лиц знать и знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно, я им жизни не давал и не имею права ее отнимать. Жизнью людей должно распоряжаться государство, а не частные граждане. Товарищ, это не контрамарки в театр подписывать, и я ни за что не подпишу!» Я была в ужасе и умоляла его подписать ради нашего ребенка. На это он мне сказал: «Ребенок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен, пусть гибнет».

Тогда я удивилась его жестокости, но пришлось, как всегда в таких случаях, ему подчиниться. Он снова вышел к этому человеку и сказал: «Пусть мне грозит та же участь, я готов погибнуть в общей массе», – и с этими словами спустил его с лестницы.

Слухи об этом происшествии распространились. Борю вызвал тогдашний председатель Союза писателей Ставский⁶⁸. Что говорил ему Ставский – я не знаю, но Боря вернулся от него успокоенный и сказал, что может продолжать нести голову высоко и у него как гора с плеч свалилась. Несколько раз к нему приходил Павленко, он убеждал Борю, называл его христосиком, просил опомниться и подписать. Боря отвечал, что дать подпись – значит самому у себя отнять жизнь, поэтому он предпочитает погибнуть от чужой руки. Что касается меня, то я просто устала укладывать его вещи в чемодан, зная, чем все это должно кончиться. Всю ночь я не смыкала глаз, он же спал младенческим сном, лицо его было таким спокойным, что я поняла, как велика его совесть, и мне стало стыдно, что я осмелилась просить такого большого человека об этой подписи. Меня вновь покорило величие его духа и смелость.

Ночь прошла благополучно. На другое утро, открыв газету, мы увидели его подпись среди других писателей! Возмущению Бори не было предела. Он тут же оделся и отправился в Союз писателей. Я не хотела отпускать его одного, предчувствуя большой скандал, но он уговорил меня остаться. По его словам, все страшное было уже позади, и он надеялся скоро вернуться на дачу. Приехав из Москвы в Переделкино, он рассказал мне о разговоре со Ставским. Боря заявил ему, что ожидал всего, но таких подлогов он в жизни не видел, его просто убили, поставив его подпись.

На самом деле его этим спасли. Ставский сказал ему, что это редакционная ошибка. Боря стал требовать опровержения, но его, конечно, не напечатали.

С этого момента у него начался раскол с писательской средой. У нас стало бывать все меньше и меньше народу, и дружба сохранилась только с Афиногеновыми, которые были так же, как и он, в опальном положении.

Из-за всех этих переживаний и боясь за будущего ребенка, мы переехали в город. К этому всему добавились еще огорчения, связанные с болезнью Адика. Дело в том, что, когда

⁶⁷ ...подписи писателей с выражением одобрения смертного приговора военным «преступникам»... – Письмо советских писателей «Не дадим житья врагам Советского Союза» было опубликовано в «Литературной газете» 15 июня 1937 года. Процесс состоялся 11 июня 1937 года; в тот же день приговор был приведен в исполнение.

⁶⁸ Ставский Владимир Петрович, настоящая фамилия Кирпичников (1900–1943), журналист, писатель. Генеральный секретарь СП СССР (с 1936 г.), главный редактор журнала «Новый мир» (1937–1941). Во время Великой Отечественной войны – военный корреспондент, погиб на фронте. Теперь известно, что 16 марта 1938 года он написал письмо наркомвнуделу Н. И. Ежову с просьбой «помочь» решить вопрос о Мандельштаме, стихи которого он считал «похабными» и «клеветническими», после чего Мандельштам был арестован и погиб в лагере (Огонек. 1991. № 1).

ему было девять лет, он любил показывать разные физкультурные фокусы ребятам. Однажды он влез на лыжах на крышу нашего гаража и стал прыгать оттуда. Один из прыжков оказался неудачным, и Адик сел на кол от забора. Он страшно закричал, я тут же схватила его и посадила, не раздевая, в таз со льдом. Постепенно он стал успокаиваться, и когда острые боли прошли, я его раздела, место ушиба было все черное. Я вызвала из детского туберкулезного санатория врача и директора Попова, и он прописал ему полный покой, предупредив, что такие ушибы часто кончаются туберкулезом позвоночника. Зная живой характер Адика, он велел его запереть на ключ и привязать к кровати.

Не доверяя Попову, я повела Адика в кремлевскую больницу, к которой мы были тогда все прикреплены. Там сказали, что все органы целы, и я не могу удерживать его от спорта, которым он так увлекался. Но слова Попова мне грезилась по ночам, и я очень волновалась.

Вначале с Адиком все было благополучно и ему разрешили ходить в школу, но осенью тридцать седьмого года он, когда ему было двенадцать лет, стал себя плохо чувствовать, бледнеть и хиреть. С ним было трудно: он был живой по характеру и неудержимо тянулся ко всяким физическим занятиям. Он и Стасик были совершенно разные по характеру. У Стасика довольно рано проявились большие способности к музыке. В общую школу мы его пока не отдавали, и он учился в музыкальной школе Гнесиных. Он делал большие успехи, в десять лет он уже участвовал в концертах в музыкальной школе. Занимался он с преподавательницей Листовой⁶⁹, удивительно умевшей подойти к детям.

Тридцать первого декабря тридцать седьмого года я почувствовала приближение родов. Новый год мы сговорились встречать у Ивановых в Лаврушинском. Но в семь часов вечера Боря отвез меня в больницу имени Клары Цеткин. Это было привилегированное учреждение, палаты были на одного человека, и на каждом столике стоял телефон. Боря звонил очень часто, и часов в десять вечера я попросила забрать меня домой и дать встретить Новый год: как мне кажется, я буду рожать через два-три дня. Он сказал, что я сошла с ума, и велел мне лежать спокойно. Как только он повесил трубку, я почувствовала, что он был прав. Ровно в двенадцать под бой часов родился сын. Это произвело сенсацию в больнице: за сорок лет ее существования такого случая еще не было. Ровно в двенадцать, когда я была еще в родилке, в палате раздался звонок: звонил Боря, желая поздравить меня с Новым годом, и няня сообщила ему радостную весть о рождении сына.

На другой день я получила от Афиногеновых громадную корзину цветов с приложением вырезки из «Вечерней Москвы»⁷⁰, где рассказывалось об этом удивительном происшествии.

Может быть, я не стала бы всего этого описывать, если б это обстоятельство не сыграло в дальнейшем важную роль. Дело в том, что регистрировал сына Боря и по-мужски сделал большую ошибку, записав тридцать седьмой год рождения вместо тридцать восьмого, т. е. мальчик по метрике оказался на год старше, чем есть. Заранее было решено, что если родится девочка, ее назовут Зинаидой, а если мальчик – то он будет назван в честь деда Леонидом.

После рождения сына мы продолжали жить в Лаврушинском. Аресты не прекращались, и Боря в этой страшной атмосфере не мог ничего писать и бросил работу над большим задуманным романом, который был начат в 1935 году и брошен на тридцать седьмой странице. Его старые стихи не переиздавались, и нам жилось до того трудно, что я взялась за переписку нот. Это было утомительно, так как маленький ребенок отнимал много сил. По предложению Немировича-Данченко Боря стал переводить для Художественного театра⁷¹

⁶⁹ Листова Валерия Владимировна (1883–1970), пианистка, педагог.

⁷⁰ ...с приложением вырезки из «Вечерней Москвы»... – Заметка «Московская хроника» в газете «Вечерняя Москва» от 2 января 1938 года сообщала: «Первым ребенком 1938 года оказался сын г-ки З.Н. Пастернак. Он родился ровно в 0 часов 1 января».

⁷¹ ...стал переводить для Художественного театра... – Осенью 1939 года МХАТ приступил к работе над спектаклем,

«Гамлета» Шекспира. Театр расторг договор с Радловой⁷² на перевод «Гамлета» и взял перевод Пастернака. Он читал его во МХАТе, перевод понравился, и пьесу приняли к постановке. Уже шли репетиции, были готовы костюмы, вот-вот должна была состояться премьера. Ливанов, игравший Гамлета, был очень увлечен работой, но он же ее и погубил⁷³: на одном из приемов в Кремле он спросил Сталина, как тот понимает Гамлета и как он рекомендует его играть. Сталин поморщился и сказал, что вообще не стоит ставить «Гамлета», так как он не подходит к современности. Эта реплика Сталина привела к тому, что пьесу сняли с репертуара. Но «Гамлета» издали в Гослитиздате, а потом в Детгизе, и это поддержало нас материально. Редактором перевода был М.М. Морозов, который всячески пропагандировал и побуждал Борю делать другие переводы Шекспира. Положение было трудным и в материальном, и в моральном отношении, и Боря продолжил работу над Шекспиром.

Летом 1940 года мы отправили Адика и Стасика в Коктебель в пионерский лагерь для детей писателей, а сами увлеченно занялись посадками на новом участке. Борис с упоеанием копал землю и трудился на огороде. Работая, он раздевался и, оставшись в одних трусах, загорал на солнце. Перед обедом принимал холодный душ, после обеда отдыхал час и садился за переводы.

Через месяц пришла телеграмма о том, что Адик заболел гнойным плевритом и находится в больнице в Феодосии. На другой же день я выехала туда. Больница оказалась ужасной! Я перевезла Адика в Москву и положила в кремлевское отделение Боткинской больницы. Там он пролежал целый месяц и поправился настолько, что его можно было перевезти на новую дачу. Врачи велели взять его из школы на целый год. Рекомендовали зимовать на даче, где он мог гулять, кататься на лыжах и поправляться на свежем воздухе. Так мы и сделали. Но в середине зимы Адика стало тянуть в школу. Посоветовались с врачами, и они разрешили ему возобновить учение. Мы снова переехали в город.

Он плохо выглядел, бледнел, температурил, и меня это очень беспокоило. Но врачи ничего не находили и объясняли эти явления возрастом. Как-то Адик вывихнул ногу. Появилась большая опухоль. Я созвала консилиум в составе знаменитых врачей Краснобаева и Ролье. Они велели взять гной из появившегося на опухоли свища и дать его на анализ. Морская свинка, которой привили этот гной, умерла. Это указывало на костный туберкулез.

Нога продолжала гноиться, температура повышалась. Я упростила Борю уехать с маленьким Леней на дачу, боясь, как бы малыш не заразился, а сама осталась в городе со старшими детьми. Меня поразила беспомощность таких знаменитых врачей. У Адика была высокая температура. Я снова позвала Краснобаева и Ролье. Они недоумевали, откуда такая высокая температура, предполагали, что есть еще какой-то источник заражения, настаивали на тщательном исследовании и посоветовали поместить Адика в туберкулезный санаторий «Красная Роза» под Москвой.

Только через полгода, уже в 1940 году, с большим трудом удалось его туда устроить.

Сороковой год был на исходе, я переехала к Боре и Лене на дачу.

Восемнадцатого июня 1941 года Адику сделали операцию, вырезали в щиколотке косточку, надеясь, что температура упадет. После операции нас не пускали к нему четыре дня.

Двадцать первого днем к нам зашла жена Федина Дора Сергеевна и с ужасом на лице сказала, что вот-вот будет война с Германией. Как ни невероятно это звучало, но мы встре-

которая вскоре (до 1943 года) была прервана войной. После черного просмотра в 1945 году решено было спектакль не выпускать.

⁷² *Театр расторг договор с Радловой...* – Радлова Анна Дмитриевна, урожденная Дармолатова (1891–1945), поэтесса, переводчица Шекспира.

⁷³ *...но он же ее и погубил...* – Ливанов Борис Николаевич (1904–1972), актер и режиссер МХАТа, друг Пастернака. Ливанов утверждал, что никакого разговора со Сталиным о Гамлете у него не было.

вожились. Вечером я уехала из Переделкина с ночевкой в город, с тем чтобы рано утром быть у Адика. В городе я зашла к Сельвинскому и рассказала ему про слухи о войне. Сельвинский возмутился и назвал меня дурой. По его мнению, война с Германией совершенно недопустима, так как недавно с ней заключен договор.

Двадцать второго утром я с Генрихом Густавовичем отправилась навестить Адика. По дороге мы купили шоколаду, меду, цветов и вошли к нему в палату. Адик был очень бледен. Он рассказал, что три дня колотится головой об стену из-за страшных болей, но сейчас ему лучше. Он просил меня не волноваться, ему казалось, что опасность миновала. Мы посидели у него часа два и уже собрались уходить, как вдруг в палату прибежала сестра и сообщила страшную новость: по радио выступал Молотов, что объявлена война.

Как только я услышала о войне, я поняла, что это известие означает катастрофу для Адика и жить он не будет. Мы остались у него еще час и отправились в Москву, где я должна была купить продуктов для Бори и Лени. Город сразу изменился: магазины были пусты, появились длинные очереди за хлебом, все остальное исчезло, и мне ничего не удалось купить. Я приехала в Переделкино потрясенная и огорченная. Идя со станции домой, я встретила Сельвинского с чемоданом, они отправлялись в Москву. Поравнявшись со мной, Сельвинский сказал: «Какой ужас!» На что я ответила: «Кто дурак – неизвестно».

Боря уже знал о войне. Он утешал меня, говорил, что у нас свой огород и своя клубника и пусть меня не огорчает, что магазины пусты, – мы с голоду не умрем. Он был убежден, что война продлится недолго и мы скоро победим.

Ночью мы проснулись от безумного грохота, вся дача дрожала. Нам показалось, что это бомбардировка. Мы разбудили Ленечку, которому было уже три года, взяли его на руки и вышли на балкон. Все небо было как в огне. Мы побежали в лесную часть участка и сели под сосну. С трудом уговорили Стасика пойти к нам. Я укрыла Леню своим пальто, как будто это могло его спасти от снарядов. Наутро мы узнали, что это была репетиция, но до сих пор я в это не верю, потому что во дворе у нас валялись осколки.

Тут же издали приказ о затемнении, в Переделкине создали дружину, которая проверяла светомаскировку. Лампочки выкрасили в синий цвет, на окна повесили ковры и занавески. Боря перебрался из своего кабинета к нам вниз. Был издан приказ рыть на каждом участке траншею. Мы с Фединым решили рыть общую на нашем участке. Эту работу мы выполнили довольно быстро. О тревоге извещали со станции, там били в рельсу. Она была плохо слышна, и мы с Борей устроили дежурства. Сначала Боря спал, в три часа я его будила и ложилась, а он сменял меня. Все это было не напрасно: в рельсу били каждую ночь. Мы укутывали Леню в одеяло, будили Стасика и шли к Фединым. Если мы долго не показывались, Федины приходили к нам. Налетов пока не было, и убежищем мы не пользовались. Федин и Боря обсуждали события и удивлялись быстроте передвижения немцев. Они шли катастрофически быстро и к началу июля были уже в 250 километрах от Москвы.

В Литфонде организовали комиссию по приему писательских детей в эвакуацию. Боря настаивал на необходимости вывезти Стасика и Леню, а у меня душа рвалась к третьему сыну, который лежал после операции в санатории в беспомощном состоянии. Но Боря дал мне слово, что он будет часто навещать Адика и рассказывать ему, как горько я плакала и не хотела уезжать из-за него. Он говорил, что для маленького Лени ночные переживания, связанные с тревогой, вредны и надо спасать здоровых детей. Вместе с детьми могли ехать только матери, у которых были малыши не старше двух с половиной лет. Леня по метрике был старше. Мне стоило большого труда уговорить домоуправа дать справку о том, что возраст у Лени указан неверно. Я пришла в Литфонд и сказала, что они не пожалеют, если возьмут меня, и я готова, засучив рукава, выполнять любую работу, какая потребуется в эвакуации. Немцы приближались, и мы должны были срочно выезжать специальным поездом в

Казань. Трудно и тяжело было расставаться с Борей. Он провожал нас на вокзал⁷⁴, вид у него был энергичный, он подбадривал нас и обещал впоследствии к нам приехать. Сердце мое разрывалось на части. За Борю и Адика было беспокойно, так как налеты учащались и в Москве оставаться было опасно. Я чувствовала себя преступницей перед Адиком, но меня уговаривали уехать, успокаивая тем, что санаторий тоже будет организованно эвакуирован. Особенно тяжелым было расставание Бори с Леней, которого отец обожал. Последний раз прижавши сына к груди, он сказал, как будто Леня все понимает: «Надвигается нечто очень страшное, если ты потеряешь отца, старайся быть похожим на меня и твою маму».

В дорогу не разрешалось брать много вещей, но я захватила Ленины валенки и шубу и завернула в нее Борины письма и рукопись второй части «Охранной грамоты»: они были мне очень дороги, и я боялась, что во время войны они пропадут. Благодаря этому письма и рукопись уцелели.

Я ехала в одном купе с Наташей Трениной⁷⁵, которая везла маленького Андрюшу, сына Павленко. Стасика поместили в другом вагоне вместе со старшими детьми. Всего эвакуировалось двести ребят. Сразу стало ясно, что малыши нуждаются в помощи и рук не хватает. Засучивши рукава, я принялась помогать с самой большой добросовестностью. Приходилось умывать детей и кормить их. Несмотря на то что в Москве был голод, продуктов для детей везли достаточно.

Комендантом поезда была Евгения Давыдовна Косачевская, а директором детдома – Фанни Петровна Коган. Им сразу понравилась моя работа, и особенно то, что я уделяла больше внимания чужим детям, чем своим. Уже к концу этой поездки, продолжавшейся три дня, Ф. П. сказала, что ей нужен именно такой работающий человек и она думает устроить меня сестрой-хозяйкой в этом детдоме. Я ей отвечала, что такие вещи, как честность, порядочность и благородство, не требуют похвалы, они должны быть обычным явлением. Она сказала, что, как ни странно, из сорока восьми матерей, ехавших с нами, я была в этом смысле единственной.

Мое усердие на три четверти объяснялось моей горькой участью, разлукой с Борей и Адиком. В работе я находила утешение. Мне пришлось не только ухаживать за детьми, но и показывать пример матерям. Я убеждала их работать так, чтобы валиться с ног от усталости, и говорила, что в этом единственное наше спасение. Постепенно и другие, следуя моему примеру, втянулись в труд.

В Казань приехали поздно вечером. Оттуда нас должны были направить в Берсут на Каме. Это было нечто вроде дачного поселка, было решено остановиться там на лето, чтобы дать детям возможность побыть на свежем воздухе. Ночью в темноте погрузились на баржу, ее заливало, и мы по очереди дежурили и откачивали воду. В момент погрузки к пристани причалил пароход, по-видимому санитарный. Мне вдруг почудилось, что на этом пароходе едет Адик. Я подбежала к какому-то военному с повязкой Красного Креста на руке и спросила, какие это больные. Он меня обругал за то, что в военное время я спрашиваю такие подробности, это, мол, тайна. Его резкость меня поразила. Я объяснила, что интересуюсь не из простого любопытства, что мой старший сын находится в санатории под Москвой, мне пришлось его бросить, и я очень страдаю. Он смягчился и сказал, что это не тот санаторий, а какой – он не скажет, потому что не имеет права отвечать на вопросы. Но нервы были натянуты, я не могла уснуть, и это было кстати: я следила, чтобы вода не заливала детей. И как всегда в страшные минуты, я стала молиться Богу, чтобы мы все доехали благополучно.

На другое утро мы прибыли в Берсут. Нам дали два дома – один для старших детей, другой для младших. Стали распределять обязанности между матерями. Меня тянуло быть

⁷⁴ Он провожал нас на вокзал... – 3. Пастернак уехала с детьми Станиславом и Леней 6 июля 1941 года.

⁷⁵ Тренина Наталья Константиновна (1914–1980), переводчица, дочь К. Тренина, жена П. Павленко.

няней – убирать палаты, мыть горшки, топить печи, но Ф. П. сказала, что эта работа не для меня и она мне поручает самый ответственный пост – быть кормилицей детей. В такое трудное, голодное время это было совсем не просто.

Я с головой окунулась в работу. Не все шло гладко, большинство матерей относилось к делу легкомысленно. На общем собрании всего коллектива я старалась убедить, что одни слишком веселятся, бросают детей и ходят гулять, а другие зря впадают в противоположную крайность и льют непрерывно слезы. Руководили нашими собраниями Косачевская и Ольга Черткова, обе партийные работницы. Они начинали свои речи с того, что в нашем коллективе завелись упадочные настроения. Мне часто приходилось выступать против них, и я не могла понять, зачем в своих выступлениях они бросаются громкими фразами о родине и патриотизме. По лицам матерей было видно, что все идет мимо, и я сказала им обеим, что официальные речи на этих женщин мало действуют и совершенно некстати, время трудное, у каждого своя драма и нужно действовать более человечно. Они на меня косились, полагая, что я буду разлагать коллектив. И как они ни старались подкопать под меня, ничего не выходило, потому что в моей работе не к чему было придраться. К концу эвакуации дело дошло до того, что, проникшись уважением к моей работе, они предложили мне вступить в партию. Я сказала, что для этого нужно иметь политическое образование, а я недостаточно подкованна.

Прожили мы в Берсуде три месяца. Вначале я не получала никаких вестей из Москвы, очень тревожилась, а потом стали приходиться письма от Бори. Они прибывали по оказии с едущими писателями. Боря писал, что проходит военное обучение и дежурит в Лаврушинском на крыше. Живет на даче вместе с Лениной няней Марусей, не голодает, потому что выручает огород, и просит меня о нем не беспокоиться. Писал, чтобы не волновалась за Адика, санаторий собираются эвакуировать в Плес, Адик на меня не сердится, понимает и оправдывает мой поступок и часто будет мне писать.

Конечным местом нашего назначения был Чистополь, где для нас приготовили два дома, оборудованных на зиму. Это было кстати, потому что в Берсуде было уже холодно – дачи, в которых мы разместились, были летними.

Итак, в конце сентября мы прибыли на пароходе в Чистополь. Здесь я официально заняла место сестры-хозяйки. Я отдавала всю душу и все свое внимание детям. Хотя не дело сестры-хозяйки заниматься черной работой, но в свободное время я топила печи, мыла горшки и т. д. Делала все это я с удовольствием, но в бухгалтерии я ничего не понимала, и началась моя работа с недоразумения. Когда мы расположились, пришел кладовщик переписывать инвентарь и принес две бумаги – одну на имущество дома старших детей, а другую на наш дом малышей. Пересчитали весь инвентарь, и я по неопытности расписалась на обеих бумагах, таким образом, получила двойное количество инвентаря. Этого кладовщика вскоре призвали в армию, и я его больше не видела, он был убит на войне, и некому было подтвердить, что в бумагах двойное количество инвентаря указано ошибочно. Этот факт я упоминаю как анекдот, только потому, что в конце эвакуации, когда я получала в Москве медаль «За трудовую доблесть», надо мной смеялись из-за этой истории, и директор Литфонда Хмара сказал, что он мог бы меня отдать под суд и прощает все за мою честную работу. На это я отвечала, что ненавижу бухгалтерию и, сталкиваясь с ней, всегда запутывалась и получались недоразумения. От цифр, накладных и документов у меня кружилась голова.

В Чистополе было очень трудно; кругом воровали продукты, дрова, и я вставала в четыре часа утра и сама топила печи во всем доме, хотя это не входило в мои обязанности. Но я чувствовала, что все наше хозяйство развалится, если я не буду этого делать. Директор дома Фанни Петровна к каждому празднику брала со всех обязательства улучшить работу, и однажды, когда я тоже хотела взять обязательство, она написала другое и повесила у меня над кроватью. В этом «обязательстве» говорилось, что я должна брать выходные дни

и побольше отдыхать. Кроме наших ста детей, мы еще кормили приходивших за обедами и завтраками матерей, у которых были грудные дети.

Трудностей было очень много. Я была не в ладах с директором обоих детских домов – нашим главным начальством Я.Ф. Хохловым. Он был представительный мужчина, прекрасно одевался, и все гнули перед ним спину, подхалимничали, таскали для него продукты, делали ему подарки. Я же находила, что ему скорее подходит должность директора конюшни, а не детдома. Он не понимал, что маленькие дети нуждаются иногда в диетическом столе, и когда я иногда выписывала лишние полкило манной крупы или риса, он кричал, что дети болеют от обжорства, потому что я их закармливаю. Однажды он довел меня до того, что я вспылила, хлопнула чернильницей и облила его роскошный костюм. Речь шла о каких-то дополнительных продуктах для праздника 7 Ноября. Он назло выдал мне плохо разваривающуюся пшеничную крупу и вместо белой – ржаную муку. Я пришла домой и написала заявление об уходе. Через два часа пришла бумага, на моем заявлении было написано, что вплоть до особого распоряжения я не имею права оставить свою должность. Как ни странно, он стал после этого случая лучше относиться ко мне и не так часто отказывал в моих просьбах.

Праздники приближались. Я знала, что 7 Ноября наш детдом посетит обкомовское начальство. Ф. П. хотела устроить торжественную часть вместе с детьми и просила меня придумать какое-нибудь печенье. У меня в наличии была только ржаная мука, и я всю ночь делала с ней всякие пробы. Наконец я ее пережарила на сковородке, растолкла, прибавила туда меду, яиц и белого вина, и получилось вкусное пирожное «картошка». С утра я засадила весь штат делать бумажные корзиночки для пирожных. Вечером к пятичасовому чаю прибыли гости, и когда мы подали эти пирожные, все подивились моей выдумке и стали аплодировать.

Я немного забежала вперед, так как в октябре произошло знаменательное для меня событие: приехал Боря. Немцы были под Москвой, и семнадцатого октября его, Федина и Леонова срочно эвакуировали самолетом⁷⁶. Борин приезд был очень большой радостью и вознаграждением за все пережитое. Он вез мне шубу, теплые вещи. Это было весьма кстати – в Чистополе стояли морозы.

Федину и Леонову их жены сняли комнаты, а Боре пришлось ночевать в детдоме. На другое утро меня отпустили на целый день, и мы отправились искать жилье для него. Нам повезло, и мы нашли близко от детдома на проспекте Володарского хорошую, просторную комнату. Я сказала Боре, что работу не брошу, я в нее втянулась и мне совершенно все равно, за кем я ухаживаю, за своим сыном или за чужим, я стою на страже их здоровья и умру, но привезу их живыми в Москву. Он был удивлен и огорчен моей непреклонностью, но, как всегда бывало, сразу все понял, похвалил меня, сказал, что слухи о моей работе докатились до Москвы и он гордится мной. Говорил, что провожал Адика в эвакуацию под Свердловск, что это был тревожный день, когда Москву непрерывно бомбили, и туберкулезных детей не смогли вынести в бомбоубежище. Когда Боря провожал Адика, тот рассказал ему, как о поразившем его чуде, про такой случай: бомба попала в соседний дом, от этого взрыва в санатории выбило стекла, и тут вошел врач. Он двумя обыкновенными человеческими словами быстро успокоил детей и, несмотря на сильную бомбежку, остался с ними. Кроме Бори, Адика провожал отец. Ехали больные дети ужасно, по трое, четверо на одной полке, тогда как многих из них нельзя было шевелить и перекладывать. Меня удивил бодрый и молодой вид Бори. Он сказал, что война многое очистит, как нечто большое и стихийное. И он уверен, что все кончится очень хорошо и мы победим. Тут же решил сесть за переводы

⁷⁶ ... семнадцатого октября его... срочно эвакуировали самолетом. – Из Москвы в Казань Пастернак добирался поездом, а из Казани в Чистополь – паромом и находился в пути с 14 по 19 октября.

Шекспира. Тогда уже был переведен «Гамлет» и «Ромео и Джульетта», а в Чистополе он принялся за «Антония и Клеопатру».

Мне прибавилось работы: я бегала на рынок покупать Боре на завтрак и ужин (обеда все писатели брали у нас в детдоме) и стирала его белье. Он по нескольку раз в день приходил ко мне в детдом, отвлекая меня от работы, но на него никто не сердился – его обаяние покоряло всех. Мне приходилось теперь брать выходные дни, и мы с маленьким Ленечкой отправлялись к нему, оставались ночевать, а на другое утро возвращались в детдом.

Как-то потребовалась помощь при разгрузке дров на берег, Боря записался в бригаду и горячо взялся за дело. Он говорил, что хорошо понимает, почему я увлечена работой, и от меня не отстанет, он, как и я, считает, что физический труд – главное лекарство от всех бед. Боре очень нравилась жизнь в Чистополе, и он хотел там остаться. В городе нашелся дом, где раз в неделю собирались писатели. Это был дом Авдеева, местного врача⁷⁷, при доме был чудесный участок. В дни сборищ писатели там подкармливались пирогами и овощами, которыми гостеприимно угощали хозяева. Но, конечно, не только возможность хорошо поесть привлекала к Авдееву. Всех тянуло в их дом как в культурный центр. У Авдеева было два сына, один литературовед, а другой имел какое-то отношение к театру. Там читали стихи, спорили, говорили о литературе, об искусстве. Бывая там, мне иногда казалось, что это не Чистополь, а Москва. У Авдеевых Боря читал свой перевод «Антония и Клеопатры».

В начале ноября до нас дошли слухи об аресте⁷⁸ Генриха Густавовича. Эта весть потрясла всех, кто его знал: более непричастного к политике человека трудно было себе представить. Однажды я зашла к Трениным, у которых сидел А. Сурков. Это был мой выходной, и они угостили меня обедом с водкой. Никогда не забуду, как Сурков сказал: «Лица, которые не уехали из Москвы вовремя, находятся на подозрении». Я была слегка навеселе, потому расхрабрилась и сказала: «Если подозревают таких, как Нейгауз, то я подозреваю вас в том, что вы считаете это правильным. А я слышала другое – кто слишком быстро удирал из Москвы, тот тоже на подозрении, и надо наконец твердо выяснить, что же подозрительно». На это Сурков ответил: «Смотря как удирать и как оставаться».

К моему большому счастью, стали приходиться письма от Адика, и наконец-то я узнала его точный адрес. В первом письме он писал, что ни капельки на меня не сердится, я поступила правильно, ведь он находился не один, а в коллективе, и это придавало ему силы и бодрость во время бомбежек и трудного пути. Он писал, что здоровье его улучшилось, о нем заботится хороший персонал, хорошие врачи, но только немножко голодно.

Мы с Борей долго обсуждали, стоит ли Адик писать об аресте отца: он был комсомолец, авторитет отца был для него очень велик. Я считала нужным скрывать это до освобождения, в котором я не сомневалась. Но Боря не согласился и тут же написал Адик письмо. Письмо это я помню наизусть: Боря писал, чтобы Адик не думал, что его отец в чем-то провинился, наоборот, он знает, что всех лучших людей в России сажают, и он должен гордиться арестом отца. К нашему большому удивлению, это письмо каким-то чудом дошло.

В декабре 1941 года⁷⁹ Боря улетел в Москву по делам. Он умолял продолжать топить его комнату, которую он особенно ценил за то, что ему здесь хорошо работается, и ни в коем случае от нее не отказываться. Я писала Адик каждый день, заклиная его не капризничать и лучше кушать, обещала ему взять отпуск и его навестить.

⁷⁷ ...дом Авдеева, местного врача... – Авдеев Дмитрий Дмитриевич (1879–1952), врач. Авдеев Арсений Дмитриевич (1901–1966), театровед. Авдеев Валерий Дмитриевич (1908–1981), биолог, переписывался с Пастернаком.

⁷⁸ ...до нас дошли слухи об аресте... – Г.Г. Нейгауз был арестован и заключен во внутреннюю тюрьму на Лубянке 4 ноября 1941 года; выпущен 19 июля 1942 года с разрешением жить в Свердловской области, а с 1944 года в самом Свердловске.

⁷⁹ В декабре 1941 года... – Пастернак уехал в конце сентября, 2 октября прибыл в Москву, а возвратился в Чистополь 26 декабря 1942 года.

Стасик, находясь в детдоме, работая в колхозе и таская дрова, совершенно забросил музыку, что меня очень огорчало. В столовой стоял какой-то разбитый рояль, и иногда по вечерам он садился играть. Детдомовское начальство разрешило ему работать до двенадцати часов ночи и всячески создавало подходящую для занятий обстановку. Потом он стал выступать у нас в детдоме. Иногда мы выступали вместе, играли в четыре руки симфонии Бетховена. Приближался Новый, 1942 год. Стали думать о елке. Игрушек не было, и, достав какой-то ваты и бумаги, я созвала всех матерей, и мы принялись за работу. Надо было наклеивать вату слой за слоем клейстером из картофельной муки. Получились замечательные игрушки. Хохлов ворчал, что вся вата ушла на пустяки. Я возмущалась этим, считая, что чем меньше малыши будут ощущать бедствия войны, тем для них лучше. Елка получилась блестящая и нарядная. Встреча Нового года совпадала с днем рождения Лени, и, бросив все дела в Москве, Боря поторопился к нам.

Вскоре в детдоме организовали кружок по сдаче норм ГТО. Никто не хотел ходить на занятия, посвященные главным образом военно-оборонительным предметам. Опять мне пришлось показывать пример. Я первой сдала экзамен и получила значок. За мной потянулись некоторые матери, но многим это показалось напрасным: Чистополь находился далеко от фронтовой полосы, и нам ничего не угрожало. Наш преподаватель вызвал меня и сказал, что назначает меня, как сдавшую экзамены на «отлично», начальником пожарной охраны. Я согласилась, будучи так же, как другие матери, уверена в нашей полной безопасности. Мои обязанности заключались в том, чтобы правильно расставить работников детдома по местам в случае пожарной тревоги.

Все было спокойно. Как-то в мертвый час все матери разошлись кто куда, и я осталась одна в детдоме. Вдруг ко мне ворвалась соседка и сообщила, что на Чистополь летит немецкий самолет. Спальни детей находились наверху, и я знала, что одна не смогу одеть и вынести всех детей в бомбоубежище и мое положение безвыходное. Это произошло после обеда, я лежала сняв обувь, и вся моя деятельность ограничилась тем, что я надела валенки и села, ожидая бог знает что. Мне казалось, что устраивать панику и пугать детей нельзя, но вместе с тем я сомневалась, правильно ли я поступаю. Однако самолет пролетел у нас над головой, не причинив никакого вреда. Мне казалось, что беда нас миновала потому, что я горячо молилась об этом Богу. Я думала, что меня осудят за то, что я не подняла тревоги и спокойно выжидала в нижнем этаже. Но на первом же собрании меня похвалили за выдержку, одобрили мой поступок и сказали, что если б я подняла панику, я только напугала бы детей, ведь все равно справиться с сотней детишек я одна не смогла бы.

Бывали и смешные случаи. Под мой выходной день мы с Леной шли ночевать к Боре, и однажды ночью, когда мы были у него, я услышала сигнал тревоги, по которому я обязана была явиться в детдом. Моментально одевшись, я бросилась туда. На улице мне встретились веселые знакомые люди, возвращавшиеся из кино. На их вопрос, куда я бегу, я ответила, что была тревога. Они засмеялись и сказали, что в Чистополе об окончании сеанса оповещают, звоня в колокольчик. Мне пришлось одуроченной вернуться обратно.

Боря продолжал жить в Чистополе, изредка выезжая в Москву по денежным делам. Он с подъемом работал над переводом «Антония и Клеопатры», был в хорошем настроении, ждал конца войны, всяческих удач, был уверен в моральном подъеме народа и предсказывал перемену к лучшему после войны. Дела на фронте поправлялись, и в одну из поездок в Москву он просил, чтобы его отправили на фронт с писательской бригадой. Но с ним поступали по-хамски, много раз обманывали, и в результате он попал на фронт только в 1943 году. Я очень переживала эту обиду.

Весной 1942 года я получила письмо от врачей из санатория Нижний Уфалей под Свердловском, где находился Адик. Они спрашивали у меня разрешения на ампутацию ноги, так как это якобы могло спасти его жизнь. Поскольку вопрос шел о жизни и смерти, я дала

согласие. Но никак не могла себе представить этого молодого, красивого человека, отличного спортсмена, любителя танцев и всяческого движения – и вдруг без ноги. Боря меня утешал и говорил, что мы закажем протез и будет совершенно незаметно, если же здесь не смогут сделать хороший протез, то он повезет Адика в Англию. Итак, я дала согласие, а через месяц получила душераздирающее письмо от него. Он писал, что не представляет себе дальнейшей жизни, теперь он калека без ноги и мечтает только об одном: попасть в Переделкино и лежать у меня в саду; единственное, чем он может быть полезен, это исполнять роль чучела в огороде.

После этого письма я решила поехать навестить его⁸⁰. Ко мне относились хорошо и моментально устроили отпуск на две недели.

Деньги у нас были, я купила Адике мед, масло, сухари и, взявши Стасика, которому было четырнадцать лет, пустилась в путь, с трудом добившись пропуска. Боря настаивал на том, чтобы я взяла как можно больше денег, и привез нам на вокзал десять тысяч рублей. Эти деньги целиком вернулись обратно, так как ничего нельзя было купить, и мы со Стасиком питались в Нижнем Уфалее грибами и малиной.

Всю дорогу я обдумывала, как объяснить Адике арест отца и не волновать его, а утешить. Но все произошло как в сказке. Приехав в санаторий, я застала Адика с письмом в руке, и слезы у него лились градом. Он сказал, что такого счастья он не выдержит: радость видеть меня и получить письмо от освобожденного отца была слишком велика. И вышло так, что не мы должны были его утешать, а он сообщил нам чудесную весть. Отец писал, что он уже на свободе. Ему предлагают выехать в Свердловск, в Алма-Ату или в Тбилиси, но он выбрал Свердловск, чтобы быть ближе к нему и навещать его.

Мы целый день сидели у Адика. Меня очень огорчило, что и после ампутации ноги, отрезанной выше колена, температура продолжала повышаться. Он говорил, что его преследует ощущение пятки (т. е. временами кажется, что ампутированная нога болит или чешется пятка). Лежа в санатории, он влюбился в одну девушку. Она была ходячая больная, часто его навещала, сидела у его постели, и между ними завязался роман. После операции же она совершенно отвернулась от него, и он испытывал тяжелую обиду.

Утешая его, я говорила, что жалеть ему не о чем, вся моя жизнь убедила меня в том, что любовь – прежде всего жертва, и если эта девушка на жертву не способна, то он ничего не потерял и о такой любви плакать нечего.

Нужно было позаботиться о пристанище. Я оставила Стасика у брата, а сама пошла искать жилье. С трудом удалось найти неподалеку от санатория комнату с одной кроватью, и нам пришлось спать со Стасиком на ней вдвоем. Стоила комната очень дорого, хозяева не хотели брать деньгами и требовали продукты. Было время закрытых столовых, купить на рынке было нечего, и мы не знали со Стасиком, как устроиться с питанием. Вблизи от нас был лес, я собирала грибы и малину, росшие там в изобилии, и этим кормились. Как и всегда, трудная жизнь, заботы о детях отвлекали меня от страдания и слез. Адик обрадовался нашему приезду и папиному освобождению. Кормили в санатории очень скудно, и привезенные нами мед и масло были ему существенным подспорьем.

Две недели прошли очень быстро, пора было подумать об обратной дороге. Мы распрощались с Адиком, обещав забрать его в Москву, как только кончится война. От Нижнего Уфалея мы за два часа добрались поездом в Свердловск, где очутились голодные, бесприютные, без крошки хлеба и с десятью тысячами в кармане, на которые ничего нельзя было купить. Надо было доставать билеты до Казани. Стасик уговаривал меня лететь самолетом, но я плохо переносила полеты, и мы отправились пешком на вокзал, который находился на другом конце города. Транспорт не работал, и мы, шатаясь от голода, шли по улице, как вдруг

⁸⁰ ...решила поехать навестить его... – Поездка могла состояться не ранее конца июля 1942 года.

увидели афишу о концерте Гилельса, который был учеником Генриха Густавовича. Я ухватила за знакомое имя как за соломинку. Узнали по телефону-автомату номер единственной свердловской гостиницы «Урал», в которой останавливались в 1932 году. Позвонив туда, я спросила, не здесь ли остановился Гилельс, мне ответили, что здесь, и дали номер телефона. Трудно поверить, но, набрав номер Гилельса, я услышала вдруг голос Генриха Густавовича. Он умолял нас со Стасиком прийти как можно скорее. Мы с трудом дотащились до гостиницы. Не было предела нашей радости при встрече. Стасик был счастлив, видя отца живым, здоровым и на свободе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.